ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



3 [238]
МАРТ
1975

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Эдуардас Межелайтис



СТИХИ



Перевел с литовского Л. МИЛЬ.

Медосбор

Сладок август: пчелами усеян.
Август не жалеет ничего.
Он всегда богаче и щедрее
Месяцев, стоявших до него.
Он еще и несравненно слаще,
Как бывают слаще во сто крат
Женские безудержные ласки
Тех, каким девушки дарят.
Полны соты золотого меда.
Я такого сроду не едал.
Август и богаче год от года
И щедрее тоже, чем бывал.
И к тому же — неизменно слаще,
Как бывает слаще во сто крат
Только что изведанное счастье
Пережитых некогда услад.
Неужели время медосбора
Для меня пришло в последний раз!
Не было такого уговора,—
Правда, август! — не было у нас.

На рыбалке

Светящаяся, словно память детства,
Запрыгала рыбешка над рекой,
И взвизгнула пикующая леска,
И выгнулось удилище дугой.
Так и меня неведомая сила
Когда-нибудь ухватит за вихор,
И, выдернутый из родного ила,
Затею с ней такой же ярый спор.
Ведь я и сам, в конце пути земного
Вбирая жадными зрачками свет,
Не пожелаю бытия иного —
А значит, для меня иного нет...
Крючок надежен, и рука привычна.
Сейчас добычу я в мешок швырну...
Но полетела светлая плотвичка
В приветливо журчащую волну.

Неоспоримые доводы

Нас еще навещают шмели золотые.
Прилетают серебряные мотыльки
Безотказно. И могут лишь пройды лихие
Спорить с августом, честно платящим
долги.

Нас еще навещает опень королевский,—
Что уже и не входит в реестр долговой
В наше время. И может лишь княузник
мерзкий
Потрясать перед августом тощей сумой.

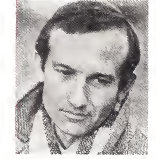
Нас еще навещают все певчие птицы.
В непогоду подсолнухи ярче блестят —
Вместо солнца. И с августом стыдно
браниться,
Если даже и ливни порой зачастят.

Нас еще навещают кувшинки и розы.
Что до ливней — с грибами они заодно.
С шампиньоном. И лишь человек
несерьезный
В облака будет громы метать все равно.

Нас еще навещают большие надежды.
Как великие строфы, подобные дни
Драгоценны. И сущие только невежды
Их не ценят, поскольку невежды они.

Стоит жить, ибо август обилен и сладок,
Ибо тысячу прочих чудесных причин
Он приводит. И лета зеленый остаток
От начала, пожалуй что, неотличим.

Игорь Шкляревский



✪

Проснулся я во тьме ночной,
и жалость тонкою иглой
все существо мое пронзила!..
В соломе колкой и сырой,
дрожа, я слушал ветра вой,
и так он плакал надо мной,
так пахло вянущей травой,
как будто ты меня простила...
И я любил, жалел до слез
всех, кто со мной живет на свете.
И эту нежность темный ветер
над голыми полями нес...
И солнце бледное взошло.
На жниве изморось зажгло,
поля, могилы озарило.
Я молча вспомнил все, что было
давно, позавчера, вчера.
Все вспомнил я... Лишь до утра
на всех мне жалости хватило.

✪

Ты помнишь, лодку к водопаду
несло, кружило и несло.
И бороздило по закату
руки бессильное весло.
Веселый стыд, счастливый страх
растаяли в твоих глазах,
и на холщовых простынях
тайменя плавники горели...
Березы мокрые шумели,
и где-то в будущих веках
они наш развевали прах,
и я писал в другом размере.
...Когда твое чудесное лицо
искажено гримасой боли,
как будто перепел попал под колесо,
и закричал, и заметался в поле,
как будто коростель,— косой задетый,
ромашковый обрызгал кровью луг...
Детдомовскими горнами отпетый,
я над собою возвышаюсь вдруг.
И в беспредельность я гляжу без страха,
и будущего щедрые поля,
плащ отряхнув от собственного праха,
как агроном обходит жизнь моя!

✪

Над алтайскою стелью туман моросил,
мы бросали овцу на дощатый настил.
Я держал ее за ноги. Мышцы сводило!
Между пальцами цвикала липкая грязь.
Шерсть шумела, серебряной лентой вияся,
и ложилась к ногам. И овца голосила.
Прогибалась доска, и навоз из щелей
бил фонтанами. Жижа глаза залепляла.
Мой напарник курил, сигарета воняла.
Скользкий плотик
                    земля подо мной колыхала,—
ненамного овца человека слабей.
О блаженство, в одежде входили в реку!
Долго мутные струи от нас убегали...
Обсыхали уже в темноте на скаку —
все планеты на мокрых штанинах сияли!
Мой напарник в слепящем небесном огне
в струях черного холода мчался за мною,
обгонял! Ослеплял меня звездной слюною...
Это небо скакало на диком коне!

Любимой

Мне снилось, что умерли мы
в разлуке. И встретились снова.
Мы разве при жизни могли
друг друга понять с полуслова!
Сквозь нас пролетали дожди.
Нас легкие птицы пронзали.
С одним замираньем в груди
Мы, тучу пройдя, прозревали.
Все тучи твои — сквозь меня!
Одною зарницей нас било...
Все беды мои — сквозь тебя!
А разве при жизни так было!
Живые мы разве могли
так долго и нежно прощаться!
Мне снилось, что умерли мы,
и я не хотел просыпаться...

✪

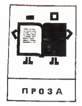
Люблю, когда поет Булат,
быть человеком просит.
И хриплый голос на закат
как дым костра относит.
Люблю, когда Булат поет.
Стыдит он или славит,
он если словом не возьмет,
то голосом добавит.
И голос вроде слабоват,
и слово на бумаге
лежит нелепо, как солдат,
когда весь полк в атаке.
И нету музыки без слов!
А вместе соберутся —
И реют выше облаков,
и слезы сами льются...

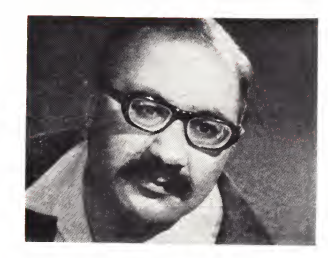
✪

Как будто вытянул сквозняк
из юности — дома, обрывы,
лицо Елены, полумрак,
на пристани худые ивы...
Трубач сырое небо пьет.
Все ненадежно, зыбко, шатко,—
вальс! И качается, как плот,
в кленовых листьях танцплощадка.
Любовь, семью и тишину
уже мы чувствуем, но слабо.
Хоть на Луну, хоть на войну,
куда угодно, лишь бы слава!
Колышутся на дне реки
подростков зябкие подобья.
Стоим. Катаем желваки.
На женщин смотрим исподлобья.
Вдруг кто-то налетает, бьет,
над ухом пряжка просвистела!
Все потому, что холод жмет
и дарит ощущенье тела.
Во тьме кипит жестокий бой,
в глухих аллеях затихает...
Тряся усохшей головой,
за нами сторож наблюдает.
Друг друга испинали всласть!
«Не зря,— он думает,— в подлунном
устройстве золото и власть
не доверяют слишком юным».
Вот погрузился в забытье...
Юнцы опомнятся не скоро.
Все тихо. Только воронье
кричит в развалинах собора.
Уж полночь! Трубачи слюну
из медных мундштуков сливают...
Друзья, пугая тишину,
в руинах стекла добивают!

✪

Дождь холодный. Пустая долина.
Стадо мокрых коров на лугу.
Я люблю тебя — несправедливо.
По-другому уже не могу.
Дым глаза выедает. И снова
ты, озябшая, смотришь с тоской,
как по жниву хромая корова
ковыляет за стадом домой.
Забинтованы задние ноги,
оступилась в фабричный ручей.
И рябины стоят, как ожоги,
но души не коснутся твоей.
Ты по горло сыта этим дымом,
липким холодом тусклого дня.
Ты дрожишь на ветру под овином,
дрожью всей ненавидя меня.
Может, стану от боли крылатым,
и прощай! И спасибо за честь,
за высокую — быть виноватым
перед всеми счастливыми здесь.





**Максуд
ИБРАГИМБЕКОВ**

ПРИЛЕТАЛА СОВА

ПОВЕСТЬ

Рисунки
В. ТРУБКОВИЧА.

Теперь скрипит, проклятая! И до чего противно скрипит, сил никаких нет слушать. То стонала и ухала, так что меня спросонок мороз по коже продрал, а теперь скрипит. Скрипит и щелкает. На инжирном дереве сидит, что за оградой, а слышно так, как будто она где-то совсем рядом в доме. Если не прогнать, до утра не остановится. До чего вставать и выходить неохота. И чего она сюда повадилась каждую ночь прилетать, других деревьев ей мало в Гаялах? Вот этот камень подходящий. Посмотрим, как теперь запоет! Эх! Чуть-чуть ведь не попал, совсем рядом с ней по ветке стукнулся. Аж зашипела от страха. Сразу же поднялась и рванула в сторону. Она, наверное, серая, а в свете луны кажется светлой-светлой. Куда она полетела, интересно?

И не только сова, виноградные лозы и тутовые деревья, даже желтые камни забора и скалы внизу над морем казались белыми. Если бы не сова, то в эту ночь вокруг было бы очень тихо, это мне сразу стало ясно, как только она улетела. Даже сверчки молчали. За спиной у меня дверь скрипнула:

— Ты чего не спишь?

— Сову прогонял. Опять прилетала.

— Не к добру это,— вздохнула бабушка.— Дай бог беды миновать.

— Дядя Кямил в субботу приедет и пристрелит ее, никакой тогда беды и не будет. Я его попрошу.

— И думать не смей. Нельзя сов убивать,— сказала бабушка.— Грех это.

— А какая беда может быть от того, что она прилетает?

— Только у меня и дел, ночью о совах с тобой разговаривать. Иди спать, не проснешься ведь утром.

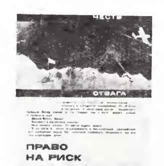
— А завтра скажешь?

— Скажу, скажу. Спи. Половина третьего уже...

Спать мне совсем не хочется, вот ведь в чем дело. Да и стоит ли ложиться, если через полтора часа мне надо вставать. Мы же договорились с Васифом завтра пойти ловить рыбу, в половине шестого на берегу должны встретиться... Придется все-таки лечь, бабушка все равно не успокоится, пока не увидит, что я заснул... Не забыть бы утром спросить



ПРАВО И ДОЛГ



«Флагманский самолет советской арктической экспедиции, пилотируемый М. В. Водопьяновым, совершил посадку на Северном полюсе...»

Сейчас это — история.

Такая же история, как спасение челюскинцев, как полеты к полюсу недоступности, как многие другие дела наших полярников. И в каждом таком деле, кроме высокой отваги и мужества, требовалось не меньше знания, здравого смысла, дара предвидения, словом, всего того, без чего невозможно перевести задуманное уникальное предприятие из холодной, далекой категории невозможного в несравнимо более осязаемую категорию просто очень трудного.

Едва ли не со всеми аспектами одного из таких «просто очень трудных» дел — полярных исследований — мы встречаемся в книге В. Аккуратова «Право на риск» («Молодая гвардия». Серия «Честь. Отвага. Мужество». 1974).

Автор — заслуженный штурман СССР, известный аэронавигатор, ветеран освоения Арктики, участник едва ли не всех сколько-нибудь значительных воздушных полярных экспедиций. Во время войны — штурман тяжелого бомбардировщика авиации дальнего действия, выполнивший не один десяток боевых вылетов в глубокие тылы противника. А кроме того — автор нескольких интересных книг, постоянный автор журнала «Вокруг света». Словом — еще одно живое подтверждение известного тезиса, гласящего, что по-настоящему одаренный человек редко бывает одарен только в какой-то одной области.

...Итак, самолет И. П. Мазурука, в составе экипажа которого находился штурман Аккуратов, благополучно приземлился (точнее — приледнился) в районе Северного полюса. Теперь нужно перелететь на «основную» льдину, на которой останется зимовать четверка папанинцев. До этой льдины — каких-нибудь полтораста километров. Сущий пустяк по сравнению с тысячами километров, оставшимися позади.

Пустяк?.. Оказывается, не такой уж пустяк! Неожиданно выплывает весьма весомое препятствие: неизвестно, куда лететь! Сжавшийся на Северном полюсе в точку пучок меридианов делает условной саму постановку вопроса о курсе. В самом деле: если курс, то относительно какого меридиана?..

Проблема явно по штурманской части. Справиться с ней должен был не кто иной, как Аккуратов. И он справляется — оперативно изобретает (попробуй тут не изобрести!) принципиально новый («старых» вообще не существовало) метод навигации в высоких широтах! Метод «условных меридианов», который в основных своих чертах применяется в Арктике и Антарктике по сей день, но первая практическая проверка которого состоялась в тот момент, когда самолет Мазурука точно вышел на папанинскую льдину, где его ждали три остальных корабля экспедиции.

Снова — в который уж раз — убеждаемся мы в том, как трудно порой бывает заранее представить себе ожидающие нас проблемы во всей их конкретности. И еще в том, что вопреки распространенному мнению голова, чувствующая непрочность своего крепления к шее, иногда соображает куда лучше, чем в спокойной кабинетной обстановке...

Проблема п р а в а н а р и с к вынесена автором в заглавие книги. Вообще говоря, можно спорить о том, является ли в данном случае самым главным п р а в о. Наверное, все-таки в жизни полярника, летчика, хирурга, словом, представителя любой профессии, связанной с необходимостью принятия ответственных решений в сложных условиях, доминирует не столько право, сколько о б я з а н н о с т ь рисковать всегда, когда... когда без этого невозможно обойтись. А всегда, когда возможно, стараться действовать наверняка, или уж, во всяком случае, с минимальным риском. В сущности, сам автор и его коллеги именно так и действуют: вспомним хотя бы отказ экипажа И. П. Мазурука от попыток искать папанинскую льдину по наитию («авось наткнемся») или разумный совет, который автор книги дал смелым, но мало информированным молодым людям, собравшимся без должной подготовки и тренировки пешком на Северный полюс. Поэтому встречающиеся в книге фразы вроде: «Нельзя рисковать на пять, десять, тридцать процентов. Все или ничего!» — представляются не до конца продуманными, а главное, идущими вразрез со всем содержанием записок В. Аккуратова.

Книга «Право на риск» хорошо написана. Некоторые эпизоды рассказаны так, что, хотя автор и избегает громких слов (что тоже следует поставить ему в заслугу), драматизм происходящего ощущается в полной мере.

Читатель видит перед собой уважительно выписанные автором портреты незаурядных людей, начиная с Отто Юльевича Шмидта и кончая Василием Михайловичем Махоткиным, в силу ряда причин незаслуженно малоизвестным полярным летчиком.

Хорошо удаются автору книги и описания удивительной, ни на что другое не похожей — «не дождавшейся еще своего Рериха» — природы Арктики, например, льдов, которые, оказывается, не монотонно белые, как по невежеству полагаем мы, люди средних широт, а разноцветные: зеленые, бледно-голубые, густо-фиолетовые, палевые, даже сиреневые с золотом!..

А, главное, В. Аккуратов смотрит на то, о чем пишет,— изнутри. Говорит только о людях, с которыми вместе преодолел немало трудного, только о делах, которым посвятил почти всю сознательную жизнь. Казалось бы, это дает ему право на некоторую безапелляционность суждений. Однако он — как большинство умных и много повидавших людей — не спешит этим правом пользоваться.

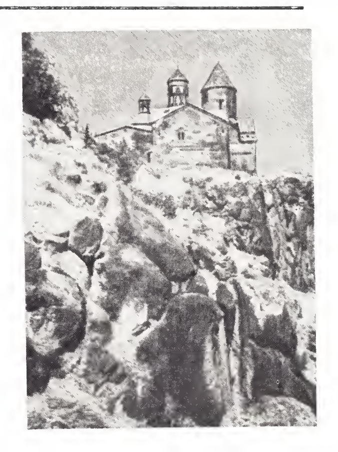
В такой сдержанности — доверие и уважение к читателю, которые не могут остаться не взаимными.

М. ГАЛЛАЙ



Рафаэл
АТАЯН

КАМЕНЬ И ВОДА



1

Еще в начале века на склонах Гегамского хребта, с юго-запада окаймляющего Севанское озеро, можно было видеть чудовищных в и ш а п о в. Это огромные каменные фигуры рыб, стоящих на хвосте. Установленные очень давно, они охраняли истоки оросительных систем, воплощая собой культ воды, с незапамятных времен царивший у исконных жителей армянского нагорья.

Было это давно... В предгорье, немного ниже обиталища вишапов, как-то произошло знаменательное событие: забил новый ключ. Люди на радостях взялись за расчистку его истоков. Вода пошла обильнее, но возник спор: которому из соседних сел должно принадлежать первенство в поливке земель? Нашли безобидное решение: кто первым принесет жертву в честь с в я т о й в о д ы, тот первым и воспользуется бесценным даром природы. Побежали за баранами. Но отары одного из сел уже были угнаны на горные пастбища, дело было проиграно. Тогда выступил вперед молодой крестьянин из этого села. «Пусть моя жизнь будет принесена в жертву воде»,— сказал он и вонзил острый нож в свое сердце.

В память об этом событии — страстном и скорбном — установили х а ч к а р, мемориальную плиту из розового туфа. На нем была точная дата — 1173 год. Легендарный хачкар дожил до наших дней, лишь недавно перенесли его в исторический музей.

И вот ровно через восемьсот лет маляр из села Джрвеж раздобыл глыбу ярко-красного туфа, пригласил каменотесов, и в сентябре, когда последний раз поливают виноградники, на том же месте воздвиг новый памятник с надписью о давно происшедших событиях. А в воскресенье, 23 сентября 1973 года, джрвежцы устроили большой пир в честь живительной воды, отпраздновав давнишнее открытие поныне действующего источника, и в честь мастера-односельчанина, 800 лет спустя создавшего прекрасное творение искусства.

Культ воды, освященный камнем, пройдя сквозь тысячелетия, жив и сегодня.

2

Мы, армяне, вопреки всем превратностям судьбы народ счастливый. Суровая и вместе с тем ласковая природа нашего родного нагорья научила нас многому. Могучие контрасты горного рельефа в сочетании с картинами нежнейшей гармонии порождали у наших далеких предков неодолимую потребность духовного самовыражения, постоянное стремление совершенствовать естественную красоту творениями своих рук. Древнейшее проявление этого — огромное количество невероятно динамичных наскальных рисунков, обнаруженных в наши дни в Сюникских и тех же Гегамских горах...

...Безраздельный властелин нашего ландшафта — камень. Камень издавна — основной материал чело-

На снимке. Храм села Сагмосаванк (XIII в.).

веческого жилища. Крепости, выстроенные на неприступных утесах из неотесанных глыб базальта и гранита, выражали собой непокорность народного духа. Они, эти крепости, и явились надежными хранителями духовной культуры — рукописей на пергаменте — от опустошительного огня костров, разжигавшихся вандалами-завоевателями. Выстояли по сей день и фундаментальные каменные здания библиотек в Гоше и Татеве, Ахпате и Санаине, выстроенные в X—XII веках.

Из камня — не однородно-серого, а многокрасочного, многоликого — возводились, начиная с дохристианской эры и до XIV столетия, монументальные сооружения, украсившие нашу землю. Бродишь по склонам Арагаца, в предгорьях Зангезура и Лори, и тебе все кажется, что свои формы и пропорции древние строения, разбросанные там, позаимствовали у окружающих скал, являясь, по сути дела, их одухотворенным завершением. Редкая и возвышенная слитность природы и искусства!

Изумительного совершенства достигало искусство резьбы на камне. Торос Тороманян, всю жизнь посвятивший изучению отечественной архитектуры, до конца своих дней не переставал удивляться новым находкам. «Невольно поражаешься, видя, какую приобрел живость грубый, бесчувственный камень от прикосновения человеческой руки,— писал он.— Словно природа сама изобрела эту восхитительную гармонию сплетения нежнейших узоров, которые можно было бы назвать скорее рукоделием, чем резьбой: до того тонки здесь линии, что сразу их и не заметишь!»

Резьба на камне была массовым искусством. Много сотен созидателей и составителей (так называли их в старину) применяли и совершенствовали свое чудесное мастерство на хачкарах. Появившиеся в VII—VIII веках как примитивные по форме надгробные памятники, хачкары со временем стали подлинными произведениями искусства.

Но наступило мрачное безвременье — пять веков турецко-персидского ига: мало что строилось, многое разрушалось, навсегда исчезая с лица земли. И все же то, что удалось уберечь, в самом деле похоже на волшебную сказку — безмолвный призыв к разуму и совести людей: охраняйте как зеницу ока творения народного гения!

Недавно в селе Бжни — одном из очагов культурной жизни средневековья — на внутренней стене каменной арки VII века, в укрытом от дождя месте, я увидел отлично сохранившуюся дощечку, тоже ставшую своего рода драгоценной реликвией. Надпись гласит: «Декретом Совнаркома ССР Армении (11. XII. 23) все древности, найденные в Армении, объявляются государственной собственностью. Портящие их лица будут привлечены к уголовной ответственности. Мы призываем всех граждан проявить внимание к древностям и заботиться о них, будь они в сохранности, в руинах или в обломках.

...Комитет охраны памятников. Ереван. ул. Абовяна, № 52...».

До чего же типично все это для времени: простота и безыскусственность, непосредственность и доверие — в этом первом обращении к народу вновь созданного Комитета по охране памятников при Совнаркоме Армении, который возглавил наш прославленный зодчий академик Александр Таманян.

С того времени дело охраны и изучения памятников старины шагнуло далеко вперед. Выросла плеяда талантливых советских архитекторов и этнографов, археологов и палеонтологов. Их исследования — серьезный вклад в историю культуры.

Все это наследие стало теперь общим достоянием советских народов, и обращено оно не только к прошлому, но и к будущему. В самом деле, как много жизненно насущного можно почерпнуть и сегодня в традициях отечественного зодчества. Живым свидетельством этого является Дом правительства на площади Ленина в Ереване. Целесообразность пропорций и изящная гармоничность компонентов при монументальности целого сделали это здание шедевром нашей армянской советской архитектуры. Прекрасен и орнамент на карнизах, воспроизводящий мотивы лучших древних образцов; да и все здание в целом говорит о том, что и сегодня живо у нас искусство резьбы на камне, переходившее из поколения в поколение.

А разве не жаль, что в нашем большом градостроительстве порой забываются предпосылки создания гармоничных архитектурных ансамблей и зачастую игнорируются «естественные доминанты»? Ведь уже сегодня на наших глазах вырисовывается угроза превращения города в хаотическое нагромождение разнокалиберных зданий. Вспомним, сколько чуткости и вдумчивости вкладывали зодчие в выбор местности — пьедестала для возведения монументальных строений. Не благодаря ли этому они, эти строения, навечно сохранили свою величественность, господствуя над окружающим ландшафтом, приковывая к себе взор путника.

3

Грозные вишапы, когда-то стоявшие на высотах, где до конца лета не тает снег, ныне повержены и лежат в городских парках или на паркете музейных залов. Зато уже третье тысячелетие живут своей благотворной жизнью прорубленные сквозь базальтовые скалы Далминский и Аштаракский каналы, ныне орошающие молодые совхоз-



Развалины храма в Звартноце.

ные сады. С удовольствием взираешь на веселый поток, выбегающий из прохладной темницы, где ни капли не теряется даже в летний зной. И тут человеческие руки соединили два враждующих в природе начала — камень и воду.

Сохранились поныне и выдолбленные в скальном грунте длинные потайные ходы, ведущие из горных крепостей к ручейкам-спасителям в дни осад. У обильных источников основывались поселения и строились храмы. Как святыню, берегли наши предки эти **и с т о ч н и к и ж и з н и** для грядущих поколений. Вот один из них, целый и невредимый,— многоводный студеный родник с трехарковой колоннадой над ним, построенный в Ахпате в 1233 году. А фронтон стоящего в руинах знаменитого храма села Птхни (VI век) украшает уникальный фриз — кувшины, типичнейший в Армении сосуд для доставки и хранения воды.

Культ воды — древнейшее поверье,— постоянно возобновляясь, приобрел многообразные формы и с новой силой возродился при советском строе. Из уст в уста передавались в двадцатые годы слова В. И. Ленина, «привезенные» Алешей Мясниковым, первым предсовнаркома Советской Армении, в 1921 году как наказ коммунистам Закавказья: «Орошение больше всего нужно и больше всего пересоздаст край, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму». А открытие Ширакского канала, первенца нашего гидростроительства, с пафосом описанное Фритьофом Нансеном, было и первым поистине всенародным праздником у нас.

Нынче другие масштабы. Пожалуй, за полвека ни одна стройка не вызывала такой всеобщей заинтересованности у нашего народа, как туннель Арпа — Севан. А Севан не только «голубая чаша, поднятая к небу», как это представляется поэтам; он глубинный резервуар тысяч родников в бассейне реки Раздан, он регулятор погоды всей северо-западной Армении. Более того, Севану, электростанциям на реке Раздан обязана своим существованием большая индустрия в столице и вокруг нее, да и сам Ереван как процветающий город. Водами Севана питаются также молодые сады и виноградники, раскинувшиеся на ранее голой, каменистой земле Араратской равнины.

Но Севан сегодня — через силу поработавший донор. Воды реки Арпа — живительная кровь для него, и камень — самый желанный сосуд — проводник этой крови. Если самый большой туннель Далминского канала, построенного еще в государстве Урарту, имеет длину 440 метров, то Арпа — Севан — длиннейший подземный водовод планеты — 48 километров, 42 из которых уже «пройдены». И вот, пока туннель проходит через скальный грунт, все благополучно. Но в самом глубинном участке шахты, вырытой с вершины Варденисского хребта, порода — песчаник, претерпевший тектонические смещения, и вся гора обваливается, вместе с мощными подпочвенными потоками и ядовитыми газами, закупоривая путь вперед. Все это источник драматических переживаний для жителей республики... А воды Арпа все равно прорвутся к озеру, и Севан заживет новой жизнью.

Битва за воду, ведущаяся уже пятьдесят лет в Советской Армении,— это битва за обогащение природы, за сохранение и умножение естественной красоты нашей жизни.


Родник в Ахпате (1233 г.).

4

Древние традиции, исходящие из самих естественно-географических условий жизни края, пустили глубочайшие корни в народной душе. Отправляйтесь из столицы по любому маршруту, в Ошакан или Арич, в Ахпат или Татев, туда, где когда-то очень давно горел светильник духовной и интеллектуальной жизни, и везде вы встретите детей, мужчин и женщин, добровольно взявших на себя заботу о памятниках старины. Порою люди, мало сведущие в искусстве, с гордостью и воодушевлением рассказывают приезжим эпизоды героической борьбы за самосохранение, связанные с историей этих памятников. И диву даешься их бескорыстному и неугасающему с годами энтузиазму.

А другие идут еще дальше. Вблизи Ленинакана, в селе Арич, завуч восьмилетней школы Григор Саркисян уже много лет собирает при содействии учащихся и родителей реликвии культуры и быта своей местности. Заручившись поддержкой районных органов, он перестроил ветхое здание когда-то знаменитой духовной школы, где учился и Аветик Исаакян, и открыл там этнографический музей. В этом сельском музее богато представлены экспонаты разных эпох, от каменного и бронзового веков до наших дней. Теперь он мечтает о пансионате, где могли бы жить и работать приезжие ученые.

А вот трогательный образец добровольной предприимчивости иного рода. Года три назад у живописного истока реки Касах, не окованного еще металлическим каркасом водопровода, нас с группой друзей приятно удивили молодые тополя. Они украшали раньше голый скалистый холмик над бассейном. Когда же сели позавтракать, подошла к нам крестьянка средних лет и скромно попросила перенести нашу трапезу в другое место. «Это святой источник»,— объяснила она. Оказалось, она сама посадила деревья и ревниво охраняла «оазис».

Это поверье о живительной силе источника и легло в основу подлинно народного движения за создание красивых родников в память погибших героев Великой Отечественной войны. В двенадцатом-тринадцатом веках **с о з и д а т е л и** из Восточного Сюника (ныне — Ехегнадзорский район) шли из села в село и строили прекрасные хачкары, увековечивающие памятные события в жизни людей, будь то сооружение моста через бурный поток, насаждение богатого сада, свадьба или же преждевременная гибель кормильца семьи. Теперь же искусные

камнетесы в Лори, Зангезуре и Шираке, переезжая из села в село, по поручению сельских общин или родственников погибших строят родники с каменным обрамлением и орнаментом на перекрестках дорог, в центре села или в излюбленных местах отдыха и развлечения. Среди них, быть может, больше всех прославился мастер Мeграб своими родниками в ущелье Ванадзор под Кироваканом и в селах Гугарка. Возникло в народном обиходе и прочно утвердилось в литературном языке новое чудесное слово, емкое и благозвучное: «памяти родник», «родник-памятник». Есть в Ереване родники-памятники, носящие имена Зои Космодемьянской, молодогвардейцев и их собратьев по подвигу — героев армян. Народным умельцам пришел на подмогу и наш недавно скончавшийся высокоталантливый архитектор Рафаэл Исраэлян, безвозмездно спроектировавший и руководивший постройкой многочисленных родников в различных районах республики. «Родники Исраэляна» — уже настоящие произведения искусства, осмысленные по конструкции и ласкающие взор человека.

Так еще раз слились воедино камень и вода — защита природы и почитание прекрасных творений человеческих рук, народная предприимчивость и смекалка и искусство зодчих — явление, имеющее древнейшие корни в своеобразии естественной среды и превратностях исторической судьбы, в поверьях и традициях народа-созидателя.

5

Но тут приходится говорить и о делах не очень приятных. Природа наша и вместе с ней памятники культуры имеют и своих недругов. Это главным образом безответственные, привыкшие к легкой жизни люди. Им наплевать на то, что ботаники-экспериментаторы из Севанской биостанции прилагали неимоверные старания три десятилетия подряд, пока на освобожденной от воды гальке и песчанике прижились немногие породы деревьев. Жаря шашлык на берегу лазурного озера, эти профессиональные кутилы оставляют за собой опустошенными и загаженными целые участки молодого лесочка.

Я видел, как одна компания, срезав ивовые ветки на шампуры, обезобразила самые красивые деревца у Парз-лич (Ясного озера), а на обратном пути навеселе повалила два прекрасных хачкара у излюбленных дилижанцами родников Пучур-Дили.

И чего не терпит от рук цивилизованных дикарей речная форель — жемчужина нашей природы, издревле опекаемая жителями горных районов! Какие только жестокие средства умерщвления не направляют они против этих красивых беззащитных рыбок — динамит, хлорную известь, электрический ток, пропускаемый в воду от моторов автомашин.

Не щадят даже наших столь желанных крылатых гостей из далеких стран — фазанов в «Хосровн антар», заповеднике, посаженном две тысячи лет назад при царе Хосрове и воскресшем к новой жизни в Советской Армении.

А сколько горьких жалоб приходится слышать из уст лесничих о том, что после бесконечной волокиты в суде даже самые злостные браконьеры каждый раз отделываются легким испугом.

Все это — источник постоянной тревоги для нашего общества. Она сказалась в подлинно боевом публицистическом выступлении юношеского журнала «Гарун». Очеркистка Марго Гукасян ярко и убедительно показала, как в течение многих лет безнаказанно игнорируются у нас важнейшие законы о земле и воде. Летом 1973 года эта тревога нашла выход в обстоятельном докладе председателя Совета Министров Армении Г. А. Арзуманяна на специальной сессии Верховного Совета республики.



Образец резьбы на камне.

Но если мы серьезно стремимся к успеху, то вместе с системой государственных мероприятий, призванных обезвредить химию и металлургию для окружающей среды, нам нужно организовать широкое народное движение в защиту природы и заодно памятников культуры, не случайно расположенных в самых живописных ее уголках. Это единая задача; смысл ее — повышение культуры и гражданской ответственности подрастающих поколений.

Объединить бы нам прежде всего усилия трех добровольных обществ — охраны природы, защиты памятников культуры и общества «Знание», разработать вместе дальнюю стратегию и программу неотложных действий и взяться за дело! А самое главное — включить в этот поток молодую энергию комсомола и пионерии. Лет пятнадцать назад по призыву писателя Вахтанга Ананяна у нас в пионерских дружинах развернулось благородное, романтически прекрасное движение — прививка дикорастущих плодовых деревьев в лесу. Многие из тогдашних пионеров — ныне учителя, врачи, агрономы — каждую весну, когда пышно цветут их лесосады, радуются творению своих рук, а осенью пробуют там сочные и вкусные яблоки, груши и сливы. У таких людей не поднимется рука спалить зеленые ивы и разбить древние хачкары.

Организуем же новое движение за создание школьных садов в городе и деревне, используем пустующие «пришкольные участки» и пустыри возле школьных зданий! Научимся и научим наших детей поддерживать чистоту и порядок в лесу, как это привыкли делать, например, ленинградцы. Возьмем пример у наших латышских и эстонских друзей — у них каждое долголетнее дерево на особом учете и даже песок на пляже — предмет заботливого ухода. Поддержим наших народных умельцев, носителей доброй национальной традиции — тысячелетней дружбы камня и воды, скрепленной человеком! И тогда мы с чувством исполненного долга сможем смотреть в глаза нашим друзьям из братских советских республик и всем едущим к нам, чтобы увидеть нашу Армению с ее чудесной природой и неувядаемыми памятниками древнего искусства.



КРУГ ЧТЕНИЯ

ПОДРОСТКАМ — О ВОЙНЕ

Разговор двух девочек в наши дни: «Завтра у нас концерт для раненых». — «Для каких раненых?» — «Для раненых на войне». — «На той? На Отечественной?..» — «На той».— «Но какие же они теперь раненые! Прошло столько лет! Они и сами-то, наверное, забыли, что их когда-то ранили».— «Они не забыли. Может быть, это другие забыли...»

Много книг написано о солдатских судьбах на той, Отечественной. Полистаем несколько изданий, вышедших в «Детской литературе» перед 30-летием Победы.

Это в основном сборники рассказов или законченные сюжетные отрывки крупных произведений, и в центре каждого — характер или событие.

В книге Е. Воробьева «Язык мой — враг мой» — рассказы о солдатах в бою, в разведке, на отдыхе. Тон мягкий, доверительный, без нажима, люди «просто» делают дело войны, будь то разведчик Харламов, пристроившийся к цепочке немецких лыжников и таким образом проскочивший незаметно в лес, или связист Устюшин, соединивший своим телом концы оборванного провода и простоявший так на морозе весь день, поддерживая связь...

Новый аспект — у Г. Бакланова в книге «Пушки стреляют на рассвете».

Внимание здесь сосредоточено на психологических конфликтах. Эта книжка — отрывок из повести; мы оставляем героев на полпути, но успеваем проследить эволюцию штабного писаря Леонтьева, который вначале прячет глаза, мечется, поняв, что командир полка именно его, а не кого-то еще выбрал для оперативного задания, но потом этот человек, подхваченный прежде ему незнакомым порывом, словно бы выпрямляется духовно, бросается на врага.

Нелегко приходится и другому солдату, Игорю, из книги Ю. Когинова «Мина на большаке». У него постоянные детские обиды на командира группы — то разбудит его, Игоря, раньше, чем надо, то гонит его без видимой надобности в головной дозор, то в докладе о подвигах партизанской группы не подчеркнул, что главным минером был он, Игорь.

Трудно приходит подросток к мужественному спокойствию, отрешаясь от самолюбивой суеты и мелочного раздражения, недопустимых в таком деле, как война...

А сюжет книги Е. Кобец-Филимоновой «Жаворонки над Хатынью» будто растворен в душевных ощущениях ее героев.

Ведь они не солдаты, не партизаны, а мирные жители, помогающие партизанам. Делать это становится все труднее в занятой немцами деревне, и писательница показывает, как наступает на хатынцев, юных и старых, смелых и не очень, вздорных и терпеливых, разговорчивых и замкнутых,— наступает на всех них беда, постепенно, сначала в снах, предчувствиях, а потом — в реальности.

Всего несколько книг, но они, каждая по-своему, говорят о войне, рассказывают о ней сегодняшним мальчикам и девочкам, таким, чей диалог мы вспомнили в начале обзора.

А диалог этот произошел в книге Г. Ширяевой «Человек Иван Чижиков» между двумя Юлями из повести «Гюрги-Дюрги-Дюк». Одна из них, приехав к больному деду, знакомится со своей сводной сестрой. Вторая Юля, прозванная дедом Дюк (и тайна этого имени тоже связывает деда и внучку), живет широкой и напряженной жизнью. Это она руководит концертами «для раненых на той, Отечественной», помогает им — не для галочки в пионерском отчете, а для души, для своей жизни. Дюк не щадит себя и других, когда требует помнить о том, что было, пусть было давно. Но в этой ее беспощадности и таится корень настоящей человечности.

Этой человечности она учит сестру, привыкшую к другому жизненному стилю — беззаботному и не обязывающему помнить о чужом горе, как о собственном. Потому что помнить — это и значит быть человеком. Помнить все то, что пройдено до тебя, а главное для тебя, нелегко, но иначе нельзя жить, иначе пустое беспамятное существование ничего тебе не раскроет в жизни.

Для этого выходят новые и переиздаются для юношества старые книги о войне.

Т. ЕФРЕМОВА







Помогите найти ее...

Уважаемая редакционная коллегия!

В одиннадцатом номере журнала «Юность» за 1974 год на седьмой странице помещены фотографии. На одной из них военная девушка стоит на подножке машины. Это Катя Филиппенко. Что я о ней знаю? Как-то в нашу часть прибыло пополнение — девушки, среди которых была и Катя Филиппенко. Вот что она о себе рассказала.

Была на оккупированной территории. Комсомолка. Их предали. Многих комсомольцев фашисты отправили в душегубку. Газ пускали медленно. Катя потеряла сознание и больше ничего не помнила. Как раз тогда местечко, где это произошло, освободили наши. Многие из спасенных не выжили. Она тоже тяжело пострадала, но оказалась сильнее смерти. Выжила. А потом добровольно ушла на фронт.

После войны мы с ней переписывались. Из-за перемены местожительства потеряли друг друга. Очень прошу вас, помогите найти ее — буду очень благодарна.

С уважением

И. М. ПОКРОВСКАЯ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ,
персональная пенсионерка,
инвалид Отечественной войны.

г. Бугуруслан.

✪

В преддверии тридцатилетия великой Победы советского народа над гитлеровской Германией люди все чаще обращаются памятью к тем незабываемым дням. Письма летят из конца в конец нашей страны. Ветераны войны разыскивают своих боевых друзей. Дети с благоговением вспоминают отцов, завоевавших Победу, отдававших жизнь за Родину. В походы по местам былых боев отправляются новые и новые отряды юных следопытов. Сколько волнующих фактов героизма стали в эти дни достоянием миллионов людей, сколько героических судеб и биографий стали известны благодаря таким поискам!

Может быть, это письмо и публикуемая нами сегодня вторично фотография неизвестной девушки помогут восстановить подробности еще одной славной судьбы, помогут двум героиням войны найти друг друга. По просьбе И. Покровской-Петербургской мы разыскиваем ее фронтовую подругу Катю Филиппенко, которую она узнала на безымянной фотографии, опубликованной в ноябрьском номере «Юности» за прошлый год.

Дорогая Екатерина Филиппенко или товарищи, которые знают ее адрес, отзовитесь на этот призыв!



Андрей Дементьев



✪

Пусть тебя минует суета,
мелкие обиды и заботы.
Мы живем в предчувствии суда,
чтоб свести с воспоминаньем счеты.

Мы живем в предчувствии суда.
И когда он наконец наступит,
ты вдруг скажешь:
— Вот она, беда.
Я люблю, а он меня не любит.

Но все встанет на свои места.
Он придет с веселыми глазами
и попросит у того суда
дать о подсудимой показанье.

Ты готова вечно слушать их,
словно вновь к тебе вернулась юность.
Ты бежишь от умыслов своих
и не хочешь о минувшем думать.

Пусть тебя минует суета.
Каждый год тогда зачтется за пять.
— Ты все та же.
Ты совсем не та,—
говорит и радуется память.

Старый Крым

Мы приехали не вóвремя:
домик Грина на замке.
Раскричались что-то вороны
на зеленом сквозняке.

Домик Грина в тишине.
Я смотрю поверх калитки.
И почудилась в окне
мне печаль его улыбки.

Нас к нему не допускают.
Нас от Грина сторожат.
И ограда зубы скалит,
точно сорок лет назад.

Но спасибо добрым людям:
снят замок, открыта дверь.
Не одни мы Грина любим —
не одни скорбим теперь.

Мы заходим в домик низкий,
в эту бедность и покой.
Свечи, словно обелиски,
над оборванной строкой.

Мимо скатертей крахмальных,
сквозь нужду и тишину
мы несем в сердцах печальных
перед ним свою вину.

Всюду даты и цитаты.
Не исправить ничего.
Все мы горько виноваты
перед памятью его.

И за то, что прожил мало.
И за то, что бедно жил.
И за то, что парус алый
не всегда нам виден был.

Сумерки

Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.
Какие прекрасные сумерки выдались!
И все позабылось,
что помнить не хочется:
обиды твои
и мое одиночество.

Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.

Душа моя, как холостяцкая комната:
ни смехов твоих в ней,
ни детского гомона.
Завалена книгами площадь жилищная,
как сердце — словами,
теперь уже лишними.
Ах, эти слова!
Словно листья опавшие.
И слезы,
на целую жизнь опоздавшие.
Не плачь!
У нас встреча с тобой,
а не проводы.
Мы снова сегодня наивны и молоды.
Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.

Какие прекрасные сумерки выдались!

✪

На даче старого поэта
все было старым.
Акварель
в тисках старинного багета
казалась тусклой.
Но апрель
сквозь эту тусклость пробивался
и синеву глазам дарил.
А наш хозяин улыбался,
как будто путь к себе торил.

На даче старого поэта
была вся прелесть в старине.
Узоры черного буфета,
и канделябры на стене.
Большие кресла — словно клети.
Ковром накрытая тахта.
И как из прошлого столетья
старик читает нам с листа.
Его стихи крепки, как мебель.
И так же старомоден слог.
А за окошком в синем небе
стриж вяжет хитрый узелок.

Баллада об имени

Мы с ним случайно повстречались
в ташкентском аэропорту,
когда, погодой огорчаясь,
как гоняли почту.
Он был находчив в разговоре,
и откровенен, и умен,—
узбек по имени Григорий
(в краю, где нет таких имен).
И я спросил его об этом,
откуда имя, мол, у вас!
Он погрустнел и мне поведал
свой удивительный рассказ:

— Меня отец назвал Сайором,—
по всем законам старины
узбекским именем,
с которым
я жил с рожденья до войны.
А Гриша — это имя друга,
то имя горестной вины.
Я с ней прошел четыре круга,
четыре года той войны.
У стен столицы утром ранним
наш танк разбили, как фасоль.
Я был контужен.
Гриша ранен.
Стрелок убит.
И шансов — ноль.
Пробитый чуть ли не навылет,
танк мог могилой стать для нас.
Каким-то чудом Гриша вылез
и вынес нас.
И жизнь мне спас!..
А сам погиб...
Сквозь боль и ярость
я клятву дал тогда ему,
что если только жив останусь,
то имя Гришино возьму.
Чтоб долго жил он вместе с нами
на доброй родине моей.
Чтобы о нем светилась память
в глазах узбекских матерей.
Когда в Москву я приезжаю,
то каждым часом дорожу:
могилу в поле навещаю,
к стене Кремлевской прихожу.
И вновь рассказываю Грише,
как мы живем в родном краю.
И все мне кажется — он слышит,
переживает речь мою...

Узбек умолк, как после песни,
в которой все слова болят:

— Он был землян ваш.
С Красной Пресни...
Теперь навек и мой земляк.

Женщина уходит из роддома

Уходит женщина от счастья,
уходит от своей судьбы.
А то, что сердце бьется чаще,
так это просто от ходьбы.

Она от сына отказалась.
Зачем ей сын в семнадцать лет!
Не мучат страх ее и жалость,
не взглянет мальчик ей вослед...

Уходит женщина от счастья,
под горький шепот матерей.
Ее малыш — комочек спящий —
пока не ведает о ней.

Она идет легко и бодро,
не оглянувшись на роддом,
вся в предвкушении свободы,
что опостылит ей потом.

И рухнет мир, когда средь ночи
приснится радостно почти
тот теплый, ласковый комочек,
сопевший у ее груди.

Предчувствие

Как лес в предутреннем тумане,
мир из сиянья и теней,
меня преследует и манит
все недосказанное в ней.

И я хочу войти, как в лес,
в ее печаль, в ее улыбку,
где все неясно так и зыбко,
где все в предчувствии чудес.

Хочу искать к ней добрый след.
И верю, что настанет время:
души и глаз скупой рассвет
вдруг вспыхнет солнцем откровенья.

Признание друга

Ушла любовь.
А мне не верится...
Неужто вправду целый век
она была моею пленницей!
И вот решилась на побег.

А ты как будто не заметила,
что нас оставила любовь.
Ты лишь с ответом чуть замедлила,
когда о ней спросил я вновь.

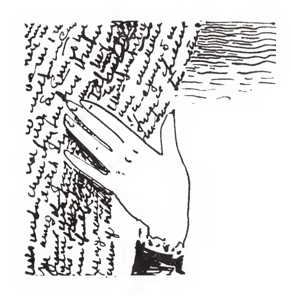
Ушла любовь, забрав с собою
и легкий смех и добрый взгляд.
В душе так пусто,
как в соборе,
когда в нем овощи хранят.



Лариса
ИСАРОВА

НОВЕНЬКАЯ

Невыдуманные истории



Рисунки В. ПЕСКОВА

Когда новая учеиица приходит в класс в середине года, на иее невольно обращаешь больше внимаиия, чем иа других, уже привычных и зиакомых. Ждешь сюрприза, ие зная точно, хорошего или плохого. Появление Птицыной в январе в девятом классе мне запомнилось потому, что она села на последиюю парту и даже иа фоне иаших рослых ребят Барсова и Петрикова не казалась маленькой. И еще оиа подчеркиуто модно была одета — в коричиевом брючном костюме. Да н прическа ее с химической укладкой резко выделяла Птицыну среди остальиых девочек. Нет, Птицыну иельзя было назвать хорошенькой. Но глаза ее мне понравнлись — большие, смеющиеся. Оиа с юмором воспринимала все происходящее в классе: и мои лекции, н разбор сочинеиий, и ответы ребят у доски.

В учительской миеиие о ней долго оставалось иеопределеиным.

— Оиа отвечает с таким видом, точио ей смешно в эти игры играть,— сказала Эмилия Игнатьевна.

— А математику оиа знает?— спросила я. Для меня это было таким показателем развитня ученика, о котором я сама не могла составить четкого миеиия.

— Понимает, но смеется...— Эмилия Игнатьевиа иахмурила чериые брови и решительио подвела нтог:— Толку ие будет, ие люблю пересмешников.

Когда в классе писали сочииеиие «Суд совести», Птицыиа сдала мне почти полиостью исписаииую тетрадь. Я удивилась скорости ее письма, она легко уложилась в урок и написала работу без помарок:

«В начале года я случайио вышла из школы вместе с Зоей С. Это была иекрасивая девочка с маленькими глазками, белобрысая. Круглый большой иос сильно портил ее. Она ии с кем ие дружила, и, когда я слушала ее ответы иа уроках, мие казалось, что я жую картошку без соли.

Я знала, что оиа дочь крупиого профессора-геолога, что тоже станет геологом и что дома ей разрешают дружить только с девочками нз «приличных семей».

Оиа увидела у меия в руках «Уарду» Эберса н сказала, что у иих дома есть полный Эберс, полный Брет Гарт и полный Дюма.

Я сделала стойку не хуже охотничьей собаки.

— Идем к нам. Если ты произведешь иа маму хорошее впечатлеиие, она даст тебе что-ннбудь почитать,— сказала она вялым тоном, и всю дорогу я выясняла, как можио приручить ее маму.

И хотя я редко робею, но когда вошла в огромную квартиру с такими большими комиатами, что оии казались пустыми, хотя мебели было много — большой, тяжелой, старнниой,— я смутнлась. Тем более, что иас встретилн несколько пожилых женщин в темиых платьях, закрытых передниками, с волосами, уложенными как-то необыкновенно старомодно.

Зоя знакомила меня, ио имеиа их сливались — мама, бабушка, тетя, двоюродиая тетя, кузииа... Нас пригласили позавтракать в столовую и каждой подали на подносике стакаи с томатным соком, яйцо в подставке, поджареииый кусочек хлеба и тарелку овсяиой каши. Я так старалась произвести «хорошее впечатление», что яйцо оказалось у меня иа переднике, и все жеищины захлопотали, точио я больная, а Зоя смотрела иа меня радостиыми глазами.

После завтрака мие был устроен допрос с пристрастием. Выяснялась профессия родителей, даже бабушки. Я держалась так кротко и воспитаиио, что меня подташнивало. А потом Зоя отвела меия в кабиисет отца, и я получила, наконец, два тома Эберса и один — Дюма в старииных переплетах с золотыми буквами на корешках.

С тех пор Зоя ко мне прилипла намертво. Она подхватывала в классе каждое мое слово, улыбалась любой моей глупости и все время делала мне подарки, неуклюжие, но трогательные. Она прекрасно изучила мои вкусы, знала, что я увлекаюсь разными корешками, камнями, а ее отец привозил из экспедиций много всяких редкостей.

Дома у нее меня встречали радостно, и я все больше впадала в зависимость, вынужденная то идти с ней на концерт, то в Дом ученых, то в гости к бесчисленным ее родственникам.

Рабству не видно было конца, ведь за три месяца я прочла всего полшкафа, а у ее отца в кабинете было пять книжных шкафов с редкими изданиями.

Наконец я решила сказать Зое, на чем строилась наша «дружба». Она посмотрела на меня влажными глазами и облизнула губы.

— Думаешь, я это не понимала?

— Тогда почему ты...— Я была отвратительна себе в эту минуту.

— Одной так скучно! Ты хоть ради книг меня терпела...

Ее вялый голос и покорно опущенные уголки губ заставили меня почувствовать свою подлость особенно остро. И я покривила душой:

— Это раньше я из-за книг, а теперь я привыкла к тебе...

Зоя недоверчиво улыбнулась.

— Я даже иногда скучаю без тебя...— сорвалось у меня.

Ее лицо порозовело, похорошело, а я наворачивала одну ложь на другую и думала, что суд совести — самое страшное мучение. Потому, что ужасно трудно делать больно тому, кто тебя любит».

Сочинение мне показалось таким ярким, что я после урока спросила, не мечтает ли Птицына писать. Она жизнерадостно улыбнулась — но так, что я почему-то почувствовала себя младше ее — и сказала, что больше любит театр.

— Я всегда стараюсь задержаться в зале после окончания спектакля, когда девочки бегут в гардероб. Я люблю стоять в пустом зале...

Она наклонила голову и пропела:

Опущен занавес, и опустела сцена,
Но все-таки из зала не спеши,
Ты оглянись — вокруг все совершенно,
Сам воздух сказочен для любящей души...

Голос у нее был теплый, бархатный. Вдруг за нами раздался голос Ланщикова:

— Во дает! Точно Эдита Пьеха.

Я и не заметила, что он крутился рядом. Птицына была настолько выше его ростом, что за ней он слушал наш разговор, оставаясь совершенно невидимым.

— Вам что-нибудь нужно, Ланщиков?— спросила я.

— Вам приглашение...

Он положил передо мной картонный билет, тщательно разрисованный от руки всевозможными зелеными обезьянами.

— Куда приглашение?

— На наш ансамбль «Лемуры», вокально-инструментальный, в субботу вечером.

В дверь просунулась голова Курова, мальчика с томными серыми глазами, так извивавшегося на месте при ответе, что я сначала боялась, не болезнь ли святого Витта у него. Но Кира Викторовна, классный руководитель, мне сказала:

— Он у нас танцор и певец.

— Я буду петь для вас,— кокетливо заявил он, пытаясь закатить глаза,—приходите обязательно...

Птицына посмеивалась, сутулясь,— она была слишком тоненькая для своего роста и точно гнулась от высоты.

Ланщиков обошел ее, внимательно разглядывая, а потом спросил:

— Не хочешь попытать счастья — спеть с нами?

Она посмотрела на него сверху вниз, загадочно улыбаясь...

— Ты модная девочка, и голосок, кажется, радиофоничен...

Куров вошел и, картинно опираясь на плечи Ланщикова, попытался строить глазки Птицыной, но на нее это не подействовало, хотя многие девочки считали его неотразимым.

— Так как? В ансамбле нам нужны кадры...

Она снисходительно оглядела мальчиков и убила их одной фразой:

— Не люблю детский сад.

— Что?— У Ланщикова от неожиданности даже сошлись на переносице разноцветные глаза, а Куров перестал извиваться. Они стояли молча, пока она со мной договорила, а потом двинулись за ней, как лунатики...

Я пришла на вечер в точно указанное время и поразилась тишине в зале. Сначала я думала, что там никого нет, но потом увидела, что пять первых рядов заняты мальчишками старших классов в черных костюмах. Они чинно сидели и ожидали концерта, хотя никого из учителей я не заметила, лишь по коридору прохаживалась Зоя Ивановна, директор школы, и порхали нарядные девочки, как всегда, стайками, как всегда, возбужденные и оттого болтливые. Зоя Ивановна увидела меня, поздоровалась и сказала:

— Вас пригласили? Это хорошо, они мало кого приглашают из учителей.

— Но я вообще никого из учителей не вижу,— удивилась я, и она пояснила мне, что никого не обязывала приходить, чтобы не занимать у людей субботний вечер.

— И потом, когда разрешаешь ребятам самим все организовать, порядок обычно образцовый. Они этот свой ансамбль страстно любят и задирают носы, что в других школах такого нет.

— А кто с ними занимается?

— Никто. Там пять человек, два десятиклассника и три девятиклассника. Сами организовались, я только дала им деньги на усилители, когда что-то стало получаться, да Кира Викторовна разрешила пользоваться радиорубкой.

В коридоре появился незнакомый парень с веселым пьяноватым лицом. Зоя Ивановна нахмурилась.

— Марш отсюда! Я не разрешу начинать, пока ты здесь.

— Да, Зоя Ивановна, вы наша дорогая...

— Быстрее, быстрее, и не вздумай снова переодеваться, все равно узнаю...

Хихикая, покачиваясь, парень пошел по лестнице, а она сказала, что он уже третий свитер меняет, чтобы попасть в зал.

— Наш бывший ученик, ничего мальчишка, только пьет...

— И он вас слушается?

— Он у меня пять лет учился, попробовал бы не послушаться...

Она повела меня смотреть школьную газету, которую к этому дню сделали участники ансамбля. В газете было множество карикатур, изображающих злоключения музыкантов-обезьян, на мордочки которых были приклеены фотографии участников ансамбля. А в углу газеты девочка с длинной тощей фигурой, сморщив нос, отмахивалась от обезьянок с возгласом: «Уберите этот детский сад!»



Потом я сидела в зале и честно страдала два часа. Все это время на сцене в картинных позах дергались мальчики, надев черные очки и совершенно устрашающе подвывая пошлые песенки, типа шлягера «Сердце на снегу». Ланщиков самозабвенно бил по гитаре, растянув губы почти до ушей, Куров вибрировал у микрофона, как шансонетка времен канкана, и его длинные волосы метались из стороны в сторону, точно он пытался сбросить их с головы. Остальные участники ансамбля утробно басили; я решила, что это скорее всего просто пародия. Стала украдкой оглядываться, но на всех лицах читался откровенный восторг! Девочки, большей частью стоявшие (лучшие места были заранее заняты мальчиками), остервенело хлопали в ладоши, кричали «бис». Все было как у взрослых, с той только разницей, что здесь пошлость репертуара особенно угнетала.

Сзади кто-то вздохнул. Я оглянулась — Птицына. Она шепнула:

— А все-таки вы не решитесь сказать им правду...

Она, единственная из девочек, не переоделась, пришла в том же самом брючном костюме, в каком ходила на уроки, только сильно подвела глаза, отчего выглядела довольно вульгарно.

— Это так же пошло, как и грим, употребленный без меры.

Она не обиделась, хитро усмехнулась:

— Уж в этом-то точно нельзя выделяться. Все гримируются...

Она не понижала голоса, и на нас стали выразительно шикать поклонники «Лемуров».

После двухчасового пения объявили танцы. Стулья были мгновенно отодвинуты к стенам, и в центре зала закружились три пары девочек, решивших не ждать трусливых «джентльменов», подпиравших стены с ироническими лицами.

Птицына сидела рядом со мной с видом старшей, наблюдающей возню малышей, пока перед нами не оказались Ланщиков и Куров.

— Ну как? — спросил Ланщиков, одним глазом поглядывая на меня, другим на Птицыну.— Ваше мнение?

Я малодушно колебалась, мечтая о случае, который помог бы мне сбежать.

— А сколько ребят тут из других школ пришли, в ногах валялись, лишь бы пустили...— Куров выпятил пухлые, сочные губы, а Птицына ехидно не сводила с меня глаз.

Пути к отступлению не было. И я сказала, точно прыгая в ледяную воду:

— У вас ужасный репертуар.

— Почему?— Голос Курова прозвучал совершенно по-детски,— мы поем то, что и по радио и в кино...

— Там тоже немало пошлого...

— А почему вы думаете, что ваш вкус хороший, а наш плохой? — тут же полез в бутылку Ланщиков и повернулся к Курову: — Вот видишь, говорил — не зови. Она же нас презирает.

Я ждала, что Птицына вмешается, но она не произносила ни слова, пока я тщетно пыталась им объяснить, что плохого в их песенках, почему они неудачны.

— Поймите, что популярность — еще не Знак качества, а я признаю только настоящее искусство...

Мальчики увяли, я ощутила себя в высшей степени невоспитанной гостьей. Пригласили, называется, а она выругала хозяев! Мне было их искренне жаль, но промолчать я не могла...

Надутые, огорченные мальчики отошли от нас, и только тогда Птицына сказала:

— Думаете, ваши слова что-то изменят?

— Не думаю, надеюсь. Авось, все же заноза в памяти останется, со мной они считаются...

Она снисходительно покачала завитой головой.

— Наивно! Вот моя мама давно уже на меня не пытается влиять... Умная, значит, женщина...

— А папа?

— Папа, кроме собак, ничего не признает. У него все фотографии с собаками, и ни одной с нами — со мной или братом.

— Это его профессия?

— Нет, он архитектор, вот и меня в это дело пытается втянуть. Но он людей не любит. Он говорит, что собаки вернее... У нас и сейчас живут две собаки, японский хин и тибетский терьер. Раньше, в детстве, я даже обижалась, что он им больше внимания уделял, чем мне, а теперь рада. Зато в душу не лезет, все позволяет...

Птицына не замечала, какая тоскливая была у нее интонация, она и сама уже не понимала, как обделена, видимо, дома заботой, вниманием. Но я почувствовала, что эта ее постоянная бравада — защитная реакция на семью, в которой, очевидно, принято ни к чему не относиться всерьез...

— Вы хорошо знаете музыку?— спросила я.

— Я кончила музыкальную школу. Был даже период, когда думала заняться вокалом...

К ней никто из ребят не подходил, но Птицына не скучала. Она с неослабевающим, откровенным любопытством разглядывала сменяющиеся перед ее глазами картины, точно смотрела в экран телевизора.

— Вы бы помогли нашим мальчикам. Их можно было бы связать с профессиональными музыкантами, научить понимать искусство...

Она окинула меня таким взглядом, что я замолчала.

Нет, в этой девочке я не ощущала враждебности, она, по-моему, тянулась ко мне, и мы потом не раз ходили на выставки, в театр. Она забегала ко мне за книгами, готовя доклады, и только в десятом классе начала часто пропускать занятия. Я пожаловалась Кире Викторовне, классному руководителю, и она мне ответила, что у Птицыной ревмокардит.

Птицына иногда шла со мной домой и рассказывала, что посещает различные институты, «примеряя» их на себя, разговаривает со студентами, преподавателями, и все время убеждается, что наяву самые заманчивые профессии трудны или унылы.

Она читала очень много книг, была в курсе всех событий в искусстве и так взрослела, что я радова-

лась, надеясь, что эта одаренная девочка обретет в конце концов свое призвание.

Когда десятиклассники писали сочинение по «Разгрому» Фадеева, Птицына выбрала тему «Мечты и действительность в жизни Мечика».

Ее сочинение было самым коротким в классе. «Разными путями пришли люди в отряд Левинсона. Мечика привели к партизанам мечты о героизме, о подвигах. О геройских подвигах он только читал, он даже не подозревал, что они противопоказаны его натуре, что обычные люди — совсем не романтические герои в «одежде из порохового дыма», что его никто в отряде не примет за исключительную личность, что над ним будут подсмеиваться как над хлипким интеллигентом. Он скопил так много долгов и невыполненных обещаний, что исполнение даже части из них не имело никакого значения. Мечик все больше отходил внутренне от партизан, не понимая их и не пытаясь понять, тихонько решив добровольно уйти от них. Но в последний момент он предает товарищей. Испугавшись белогвардейцев и понимая всю низость своего поступка, он даже думает о самоубийстве. Но он слишком любил свои руки... свои поступки, даже самые низкие из них.

Нельзя сделать себе жизнь по мечте, действительность всегда ломает все планы».

Последние строчки были подчеркнуты, точно Птицына хотела сказать что-то особое, важное, и я решила обязательно с ней поговорить. Но она в школу долго не приходила. Потом я заболела, и когда появилась на уроке, узнала, что Птицына исключена.

Я бросилась к Кире Викторовне и услыхала такую историю.

Как-то после урока к ней подошла Птицына и завела «странный», по словам классной руководительницы, разговор. Почему, мол, некоторые учителя не делают различия между учениками? Ведь есть ребята с одним характером и наклонностями и есть совершенно иные. Люди друг на друга не похожи — кто более способен, кто менее, кому-то мал мир, втиснутый в объем школьной программы, а кто-то и такой объем не может осилить... «Я прямо рот раскрыла от удивления! — усмехнулась Кира Викторовна.— Много,— говорю,— на себя берете, Птицына. Прежде чем сделаться людьми разными, вам, дорогая, надо всем кое-чему научиться. Например, не задавать глупых вопросов!» Птицына как-то устало кивнула головой и отошла.

А потом... Потом она стала пропускать занятия, вешала трубку, когда ее матери звонила Кира Викторовна, и никто ничего не подозревал — ни учителя, ни ее родители, пока Кира Викторовна случайно не встретила мать Птицыной в парикмахерской и под феном не начала расспрашивать о здоровье дочери.

Птицыну вызвали на педсовет, но она не явилась. Вместо нее к Зое Ивановне пришла ее мать и умоляла отдать документы «по собственному желанию». Птицына устроилась работать секретаршей в проектный институт отца и поступила в вечернюю школу.

— Но как она объяснила матери свои прогулы? Кира Викторовна скривила губы.

— Видите ли, ей «было скучно»! А сама на тройки училась...

— Но если ей и правда было скучно?

— А чем мы виноваты? Мы же не можем на таких, как она, ориентироваться, сама знаешь...

Кира Викторовна не испытывала угрызений совести, а я весь день не могла отделаться от тоски. Все вспоминала разговоры с этой девочкой, пыталась понять, что именно я проглядела, пропустила в текучке школьных будней?!

Ветрова, староста класса, точно подслушала мои мысли, это с ней бывало, и после уроков подошла ко мне мрачная.

— До чего обидно! Такая девчонка была...

— А какая? Особенная?

Она вздохнула.

— Стихи хорошо писала, читала их здорово... Но с нами ей было скучно... Пришла чужая и ушла чужая...

— Так чего же ты переживаешь?

— А может быть, это наша вина? Что мы сами остались ей чужими...

А позже Куров сказал:

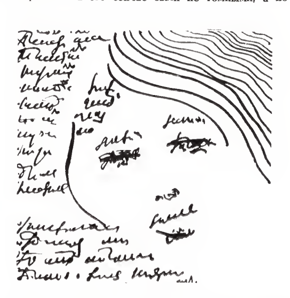
— Отличная девочка была, не то что наши кубышки...

— Что же ты с ней не подружился?

Он перестал изгибаться на секунду, и его слишком хорошенькое девичье лицо вдруг стало серьезнее и значительнее.

— А как? Я был для нее пустым местом, она меня не замечала, она сразу о людях мнение составляла и больше его не меняла. Как познакомилась с нашим ансамблем — все...

Серые глаза его сейчас были не томными, а по-



настоящему грустными. Парень чувствовал, что рядом прошло необычное существо, но их дороги так и не сошлись... Он был слишком прост, наивен для той девочки, о которой сейчас грустил. Ведь интересной внешностью Птицыну не пленишь...

И вот теперь Куров, кажется, впервые задумался над тем, чего же ему не хватало, чтобы завоевать ее доверие...

Я больше никогда не встречалась с Птицыной, но я радовалась, что хоть ненадолго она появилась в нашем классе. Она оставила после себя странную щемящую память, эта «пропавшая» душа, выскользнувшая из обычного «педагогического процесса».

И я была уверена, что когда-нибудь, через много лет, эта девочка еще напомнит о себе: она слишком требовательно искала себя, слишком придирчиво вглядывалась в жизнь, чтобы плыть по течению.



Михаил
АКСЕНОВ

НОЧНАЯ РАБОТА

Рисунки
А. ЧЕРНОВА.

За последний месяц Руднев сильно устал. Приходилось много работать.

С начала февраля задули влажные западные ветры. Они несли частые снегопады и еще неясный запах весны. Обильные оттепели сменялись звонкими морозами. Деревья быстро обрастали льдом. В вечерние тихие часы было слышно, как трещат отяжелевшие ветви, ломаются старые, подгнившие осины. Неделями не показывалось солнце, землю укрывала серая тень. Лишь снег был по-прежнему бел и свеж, но и тот недолго хранил нежную легкость, день ото дня оседая в тяжелые, вязкие пласты.

Толстые романы стало читать труднее. И часто вечерами Руднев сидел у окна, вглядываясь в плавные линии снежных холмов. Вольный пейзаж не волновал, не будил воображения, как весной, но и не умножал глухой зимней тоски. Странное у Руднева было состояние, необычное для него. Он жил сегодняшними, в основном сиюминутными ощущениями, то ли растворившись в окружавшей его тишине, покое и размеренности службы, то ли усвоив их неспешную, раньше загадочную для него суть.

Вот уже год, как Руднев не был дома, служил в этих лесах, столь далеких от его прежней жизни, и делал все то, что определялось его положением офицера, к чему обязывал долг. И его подопечные — солдаты и аппаратура, за боеготовность которой он отвечал,— все требовало времени и сил.

И все-таки иногда выпадали минуты, а то и часы, когда он оказывался без дел, наедине с собой, и тут уж ничего не оставалось, как думать о своей жизни, не слишком пока удачной, но заполненной людьми, с которыми ежедневно встречался, делами, которые удалось завершить, непреходящим ожиданием какой-то большой радости и — любовью... Любовью к ней, милой Светке, которая писала ему теперь письма. В Светке, может быть, и была причина того, что Руднев не мог до конца занять себя делом. Думалось о том, что она от него далеко, что живет в прежнем окружении, встречается с друзьями, ходит в гости, а его нет среди них, и разговоры там прежние, разве иногда кто спросит — давно ли были от него письма? И только.

Чем дольше он здесь жил, тем чаще вспоминал свой приезд сюда.

Задолго до защиты диплома, еще весной, стало известно: пятеро из группы призываются в армию. Среди пяти оказался Руднев.

Новых забот эта новость не прибавила и особых волнений не принесла. Да и мало кто тогда печалился. Стояли теплые майские, бесшабашные дни, город хорошел на глазах, покрываясь нежной тополиной зеленью, близилось жаркое лето, множились надежды, связанные с медовым летним временем. Дни были заняты экзаменами, властвовало вечное студенческое воробьиное чувство — одолеть бы сессию! После чего мир опять покажется устойчивым и покоренным надолго. Этой весной — уж навсегда: последняя сессия... Кончалась дорога длиной в целых пять лет. И если раньше можно было не задумываться о быстротечности дней, то теперь для всех стало вдруг ясно: юность позади, уже совсем в прошлом семнадцатилетние мальчики и девочки, немного смешные с высоты теперешних двадцати двух лет, но оттого не менее близкие. «Юность позади» — звучало как



— Захочешь — разберешься. Вот вернешься домой, пойдешь учиться.

— У меня Марийка есть.

— Если Марийка, то и свадьба? Учиться, выходит, некогда?

— Хорошо бы, конечно! Но я уж и так пока техникум кончал, на родителях ездил. Теперь уже и неловко. Надо жить серьезно, сколько же в женихах ходить. Сначала свадьба, а там — дом ставить. Не соскучишься. Да и неинтересно мне с электроникой возиться — все маленькое, а сложное. Мне с машинами хорошо. Деталь как деталь, есть что в руки взять. А возьмешь — маслом, теплом пахнет. Пойду механиком работать.

— Да ты уже все решил... Видать, хороша у тебя Марийка.

Сержант заулыбался и смущенно выговорил:

— Мне — так нравится.

— Похвались. Фотография-то у тебя, наверное, есть?

Ваня достал из нагрудного кармана документы, бережно вынул обернутую в целлофан карточку. На обороте было написано: «Дарю тебе, Ваня, на добрую память. М.». На фотографии — красивая девушка.

— Хороша...

— Устал не видеться. Тянет к ней. Особенно теперь, под конец службы.

— Через каких-нибудь полгода дома будешь. Осенью только и свадьбу играть...

— Дядьев у меня много, все присыпят. Нам с Марийкой хлопот хватит...

Рудиев попытался представить их будущую жизнь, которая теперь им кажется слаженно-правильной, а может обернуться, как многие другие, скучной, тягостной, такой, что ее трудно терпеть. Но это не мешало ему чувствовать особый, добрый настрой этих минут покоя, своей близости к этому солдату, ничуть не удивительной. То, что они одолели ночную работу, было главным. И потому не хотелось думать о своих делах, устроены они или нет.

Так они сидели вдвоем, молчали, курили. Время тянулось по-ночному медленно. А далеко от них скоростные машины летели на восток, оставляя за собой пушистые белесые следы, медленно таявшие в небе.

Когда закончилась боевая работа, света не прибавилось, над головой по-прежнему висела лохматая темень, но ветер начал стихать, угадывалось скорое утро.

Офицеры и солдаты расселись в тесном холодном кузове, и «уазик» покатил в городок, фыркая мотором, словно сгоняя морозную оторопь. Все сидели молча, уставшие и опустошенные, но крепко спаянные сознанием хорошо сделанного дела. Скрылась за поворотом позиция. Но еще долго слышалось легкое жужжание электрических двигателей ожившей станции обнаружения.

Раздеваясь и привыкая к теплу, Руднев подумал: а не пора ли жениться? Ему хотелось внимания и заботы, теперь уже к себе. Рудиев сожалел, что нет рядом с ним родного человека, но он понимал, что ничего от этого не изменится в его работе, в его службе, значение которой определяется даже не его возвышенными мыслями на этот счет, а просто его положением, его образованием и привычкой делать дело хорошо, а уж тем более то, которое ему здесь досталось,— не иначе, как на «отлично».

два автографа

Николай Островский

26.2.73
Москва

КАК
ЗАКАЛЯЛАСЬ
СТАЛЬ

роман

В ноябре 1935 года Николай Островский подарил Михаилу Шолохову свой роман «Как закалялась сталь» с автографом:

«Товарищу Мише Шолохову, моему любимому писателю. Крепко жму Ваши руки и желаю большой удачи в работе над четвертой книгой «Тихого Дона». Искренно хочу победы. Пусть вырастут и завладеют нашими сердцами казаки-большевики. Развенчайте, лишите романтики тех своих героев, кто залил кровью рабочих степи тихого Дона.

С коммунистическим приветом

Н. Островский».

Судьба этой книги необычна. В июле 1942 года, когда у станицы Вешенской шли бои, сотрудник дивизионной газеты Г. Гогоберидзе, возвращаясь с передовой в свою редакцию, укрылся от налета фашистских бомбардировщиков во дворе дома Шолохова. В дом попала бомба, погибла и вся библиотека Шолохова. Гогоберидзе спас лишь одну книгу — на титульном листе этой лежавшей на земле и полузасыпанной песком книги он прочитал: «Товарищу Мише Шолохову...»

Эта книга прошла по фронтам войны и закончила свой боевой путь на Дунае. А по окончании Великой Отечественной войны она возвратилась к Михаилу Александровичу Шолохову.

В Москве, в мемориальном музее Николая Островского, где я работаю, сейчас представлено в экспозиции одно из последних изданий романа «Как закалялась сталь» с автографом Михаила Шолохова:

«Эта книга достойно выдержала испытание временем. Влияние ее на молодежь социалистических стран до сих пор огромно и неизменно. И это — превосходно!

М. Шолохов.

26.2.73. Москва».

З. ГАЙСАНЮК

В ЭТОМ ЯРОСТНОМ, ЯРОСТНОМ МИРЕ

Письма моей матери

Уважаемый товарищ главный редактор!

Посылаю Вам несколько писем моей мамы Лизы Гаврич, которые, возможно, заинтересуют Ваш журнал и его читателя. В них отображена правдивая история жизни человека, всецело отдавшего ссбя борьбе против фашизма, за счастье людей и мир на земле.

Эти письма писались по моей просьбе в 1957—1958 годах за границей. Они не были предназначены для печати. Я долго не решалась привлекать к ним общественного внимания. Посылаю их вам после смерти мамы. Я хотела бы посвятить эти письма детям Ивановского интернационального детского дома, в котором выросла сама, и ивановским рабочим, построившим этот дом на свои добровольные взносы. В прошлом году в Иваново на два дня съехались воспитанники разных поколений. Это были чудесные минуты, вернее, часы. Встретились взрослые люди разных национальностей. Многие из них теперь живут и работают в своих странах, другие, как я, остались в Советском Союзе, который стал нам всем Родиной.

В настоящее время в этом доме живут и воспитываются другис ребята. Если раньше нашу дружную семью составляли дети немцев, итальянцев, китайцев, испанцев, югославов, болгар, румын, дети, вывезенные из оккупированной фашистами Прибалтики, русские рсбята из блокадного Ленинграда, изможденные и опухшие от голода, то тепсрь в этом доме находятся дети чилийских, уругвайских, парагвайских революционеров, томящихся в фашистских тюрьмах, дети африканских борцов. Настоящие границы проходят в умах и сердцах людей нсзависимо от национальных и таможенных барьеров. Поэтому, посылая в «Юность» эти письма, я знаю, что они могут быть полезны многим.

Буду рада, если Вы в журналс «Юность» найдете место для писем моей матери.

С уважением

И. М. ТАРАСОВА



Письмо 1

Мое дитя!

Я обещала тебе рассказать о своей жизни. Ты сама просишь меня об этом, и я чувствую, что это действительно нужно сделать, потому что ты должна получить сведения о своей матери не из вторых и не из третьих рук, а от нее лично.

Трудная это задача — изложить на бумаге жизнь человека, как она в действительности у него складывалась, к каким поступкам и выводам привела.

...Вчера мне посчастливилось побывать на сольном концерте Давида Ойстраха. Я сидела совсем близко к сцене.

Ойстрах играл сонату Прокофьева, которую автор посвятил ему. Хочу признаться тебе, что лучшего, воодушевляющего в музыке я не знаю и никогда ранее не слышала. Прибавь к этому мое состояние, вызванное прочтением твоего письма, в котором ты — нет, не настаиваешь,— ты просишь, чтобы я рассказала тебе о своей жизни.

То было счастливое совпадение: эта музыка и твоя просьба...

Дорогое дитя! Хочу заранее предупредить, что мой рассказ о себе займет много времени и что не все в нем для тебя будет понятным. Если бы моя жизнь не содержала в себе ничего поучительного и важного для тебя, представляла бы собой всего лишь рядовой эпизод человеческого бытия, то я вряд ли осмелилась бы взяться за перо. Но тут возникает другая трудность: будет ли для тебя понятным то, о чем я напишу. Ты выросла и получила воспитание совсем в иной среде, чем твоя мать. У вас, советских людей, особенно у молодежи, нногда бытуют наивные, книжные представления о капиталистическом мире, вы мало еще знаете, как сложно и тяжело приходится в нем жить и работать коммунистам.

Буржуазная пропаганда не жалеет слов и красок, чтобы в свете сегодняшнего дня представить вам этот мир как общество всеобщего благоденствия, демократии и свободы личности. Но все это ложь. Он мало изменился со времен войны. В нем заменены только вывески, а сущность осталась прежней. Моему поколению революционеров-интернационалистов, борцам против фашизма в годы гитлеровской тирании это особенно видно и понятно. Вот почему я хочу, чтобы ты отнеслась к моим письмам с вниманием, постаралась вынести из них главное, а именно: каков он в действительности, этот капиталистический мир, и почему мы, коммунисты, боролись и всегда будем бороться против его пороков.

Итак, я приступаю к тому, о чем ты меня просишь.

Для взрослого человека нет более простой вещи, чем сообщить место и дату своего рождения. Простые, казалось бы, сведения, но каждый из нас проносит их через всю свою жизнь как некую историческую ценность. Я не делаю для себя исключения из общего правила и поэтому тоже хочу начать с этого.

Родилась я в Вене 31 июля 1907 года в семье президента железных дорог габсбургской Австрии. Тебе важно будет знать, кто были мои родители, так как без знакомства с ними ты вряд ли поймешь среду, из которой я вышла и против которой потом вынуждена была вести долгую и бескомпромиссную борьбу, сделав ее смыслом всей моей жизни.



Лиза Гаврич.

Так вот. Мой отец происходил из семьи австрийского фабриканта, который во время буржуазной революции 1848 года выступал против монархиста Меттерниха за конституцию. Я мало что могу сообщить тебе о своем деде. Знаю только, что по тем временам он считался довольно состоятельным человеком, имел фабрику и шесть больших каменных домов, был женат на балерине дворцового оперного театра, но рано овдовел, и это обстоятельство серьезно сказалось на воспитании его детей — у него было три сына, и все они, лишенные женской ласки и внимания, выросли черствыми, замкнутыми людьми.

Характерно в этом смысле отношение отца к нам, своим детям. Он не ведал иных форм и методов общения с нами, кроме тех, что испытал и сам. В его присутствии мы могли разговаривать только в том случае, если нас о чем-то спрашивали. Собственного мнения у детей не могло быть — нас постоянно приучали к мысли, что мы дармоеды и как таковые должны только повиноваться и исполнять то, что потребуют от нас взрослые.

Не могу не вспомнить наши занятия с отцом по математике и латыни. Дело в том, что именно в этих науках, как потом выяснилось, он сам далеко не преуспел. Но было самомнение. Точнее сказать, он оставался и в этом верен принципу, по которому мы

должны были подчиняться не логике разума, а слепой вере в авторитет старшего. Он был нетерпим к возражениям и всегда перед нами подчеркивал: «Я хозяин дома. Как вы можете со мной не соглашаться!»

Кажется, уже тогда во мне зародился протест против любых форм насилия над личностью, и побудителем его был наш отец.

Совсем другим человеком была наша мама. Родом она была из Хорватии и отличалась нежной, жизнерадостной душой. Работала учительницей в школе для бедных детей. Нам она прививала любовь к театру, к возвышенному, любила устраивать маленькие праздники, на которых раздавала подарки. Она учила нас: «Прежде подумайте о других, потом о себе. Нельзя дарить то, что вам самим не нужно. Дарите то, что и вы хотели бы иметь».

Отец и мать не соответствовали друг другу, и поэтому каждый день в доме происходили ссоры.

1 августа 1914 года грянула мировая война, в огне которой рухнула Габсбургская монархия. Жизнь в семье коренным образом переменилась.

Отец разыгрывал патриота, мать и мы осуждали его за фразерство, высказывали симпатию к славянам, ведшим освободительную войну. Потом пришло известие об Октябрьской революции в России. В Вене начались выступления рабочих. Положение в семье еще больше обострилось. Отец в открытую теперь высказывался за контрреволюцию. Однажды во время обеда он сообщил: «Слава богу, Карл Либкнехт и Роза Люксембург мертвы».

В Австрии царил хаос. Инфляция привела хозяйство страны к полной разрухе. Расчеты велись только в миллионах, товары за один час так дорожали, что за ценами невозможно было угнаться. Безумствовали спекулянты. Буржуазная мораль распадалась. Этот общественный разлом сделал меня уже в 13 лет зрелой. Я читала Достоевского и Горького, размышляла о событиях в мире, искала настоящую жизнь, настоящих людей. Среди буржуазии я не находила их, с рабочими я еще не сблизилась.

Как-то сестры взяли меня на митинг в защиту Китая. Тут я впервые увидела молодых социалистов: они были такими дружными, свободными!

Я стала заходить к ним домой. Начала читать философские произведения, интересоваться экспрессионистской живописью. Я еще не понимала тогда, что все происходящее со мной было характерно для большей части буржуазной молодежи, искавшей выхода из душевного кризиса. Но где он, этот выход, как найти его?..

Собственный дом стал тяготить меня. И это предопределило мое решение: тайком, почти без денег, в плохой одежде я покинула Вену. Родителям сообщила письмом, что никогда больше к ним не вернусь. Дорога вела меня в Париж.

В сердце жила смутная надежда на лучшее.

Письмо 2

Мое дорогое дитя!

...Празднование юбилея Интернациональных бригад в Белграде было большим событием. Два дня мы с товарищами вновь жили в атмосфере республиканской Испании. Дух праздника был как никогда интернациональным и пролетарским. Приехало много иностранных делегаций. Все участники испанских событий получили ордена. К сожалению, радость была омрачена активизацией фашизма в мире. Снова грозит война. Эта обстановка меня очень угнетает.

Да, дитя мое, моя жизнь не была радостной, но она была интенсивной и наполненной действием. Это прекрасно, потому что такая наполненность приносила мне ощущение счастья. Только тот, кто многое в жизни пережил, извлекает из нее многое и по-настоящему любит ее.

Крепко, крепко целую.

Продолжаю начатое описание моей жизни.

...Итак, Париж. Была осень. Я сняла на неделю маленькую комнату и не хотела думать о том, что со мной будет, когда кончатся деньги. Ощущение полной свободы не покидало меня. Но в конце концов настал и такой день — я оказалась без крова. Чтобы согреться и скоротать время, я стала ходить в библиотеку святой Женевьевы, где было тепло и можно было читать книги. Как-то ко мне подсели три молодых человека. Обратил мое внимание один из них—плохо одетый, небритый, но с умными, проницательными глазами. Милан Гаврич. Он понравился мне трезвостью своих взглядов, отрицанием буржуазной действительности. Позже признался, что состоит в коммунистической партии. Одинаковое положение, в котором мы находились, вызывало обоюдную симпатию. Он стал моим мужем и твоим отцом. Париж не баловал нас своим вниманием. Жить с каждым днем становилось все труднее. Не было работы. Чтобы не умереть с голоду, мы с Миланом вынуждены были ходить в столовую при студенческой библиотеке, где не надо было платить за хлеб. Положение несколько выправилось, когда знакомым румынским девушкам удалось устроить меня на обувную фабрику, где трудились рабочие из многих стран. Впервые я жила среди настоящих людей. Они помогали мне овладеть профессией, поддерживали морально и материально. Большим влиянием здесь пользовались политические эмигранты. И хотя я еще очень мало знала о коммунистах, я чувствовала, что именно среди них я начинаю обретать в себе уверенность и четкость целей.

Милан многое старался объяснить мне. Постоянно рассказывал о Марксе, Ленине, о социализме. Под его воздействием я все больше избавлялась от мелкобуржуазных взглядов на жизнь, научилась защищаться, когда на меня кричал мастер. Милан в то время с великой страстью работал день и ночь над изучением марксизма. Мне хотелось пожертвовать всем, чтобы помочь ему, быть с ним рядом.

Родилась ты...

Ты родилась в Дьеппе, городке на морском берегу в Нормандии. Когда я выносила тебя из больницы, мне пришлось быстро проскочить мимо приемной, потому что не было денег, чтобы заплатить за содержание в родильном доме. Твоей первой кроватью был чемодан. Став матерью, я еще больше возненавидела богатых женщин, чьи дети с боннами выезжали на прогулку в красивых колясках.

Чтобы прокормиться, пришлось взять домашнюю работу: складывать рекламные проспекты по тысяче штук в день. Квартирой служила нам маленькая комнатка в центре Парижа, прозванная кем-то из товарищей «кибиткой скоморохов». В ней часто останавливались друзья твоего отца — югославские товарищи. Иногда они спали прямо на полу, зачастую у них не было документов. Я узнала о самоотверженности коммунистов, живущих на нелегальном положении.

Милан предложил переехать к его родным в город Тузлу в Боснии. Тебе был всего один год. В этом городе его избрали секретарем нелегальной коммунистической организации. Начался период подпольной партийной работы. На нашей квартире проходили собрания, печатались листовки, которые по-

том распространялись по фабрикам и шахтам Боснии. Я стала связной партии. Ездила в Австрию и привозила из Венской подпольной организации в Югославию материалы и деньги.

Так продолжалось два года.

Но однажды вечером я вдруг услыхала лай собак во дворе. Раздался голос Милана: «Вы должны немного подождать, моя жена купается». Это был сигнал: пришла полиция. В огонь полетели бумаги и документы. Пока полицейские агенты взломали дверь, с этим было покончено. Тогда жандармы принялись искать спрятанную пишущую машинку. Досталось и тебе: они подняли тебя с постели и перерыли ее вверх тормашками. Но тщетно. И все же Милана арестовали, увели связанным в полицейский участок. Вслед за ним было арестовано еще 200 человек. А неделю спустя пришли и за мной. Не могу без грусти вспоминать и тебя в тот день. Ты бежала за мной и кричала: «Передай привет Милану!» Все происходящее казалось тебе очень веселым.

Заключенные содержались в нечеловеческих условиях. Следствие длилось 10 месяцев. Потом нас повезли в наручниках на суд в Белград. Милан говорил: «Это наше свадебное путешествие». Проводить нас, несмотря на запрет, пришло все население города. На станции была и ты с бабушкой и протянула своим родителям букетик фиалок.

Что было потом? Был суд над коммунистами. Отцу дали четыре года тюремного заключения, а меня освободили, но потребовали, чтобы я покинула страну.

Но прежде все же удалось добиться разрешения посетить Милана в заключении.

Холодным январским днем вместе с тобой мы долго томились в приемной тюрьмы в Сремской Митровице. Ты сердилась и все время кричала: «Хочу видеть отца!» Наконец нас вызвали. Как гоголевский призрак, появилась фигура директора тюрьмы. «Вашего мужа здесь нет»,—произнес он с гримасой. «Он мертв?» «Нет, четыре дня тому назад он отправлен в Белград, в больницу». Дитя мое! Я была близка к отчаянию. Я громко плакала, кричала.

Первым поездом поехали в Белград. На вокзале полиция обыскала наши чемоданы. Наконец больница. Ввели Милана, он выглядел страшно — не человек, а палка, на которой висит одежда.

...Тебе было три года. Нас ожидало изгнание...

Письмо 3

Дорогое мое дитя! Я готова продолжить рассказ о своей жизни.

...Мы ехали в Вену. После пережитого горя я, кажется, окаменела. Поселились мы в родительском доме. Твой дед был внимателен и снисходителен ко всему, что с нами произошло. Годы сделали свое дело: политика его больше не интересовала.

В Вене в это время было подавлено героическое восстание австрийских рабочих 12 февраля 1934 года. Партия в подполье. Коммунистов бросали в концлагеря. Я быстро включилась в работу, выполняла задания югославских и австрийских товарищей. Часто, выходя на задания, я брала и тебя с собой — так было надо для конспирации. Но вместе с этим появились и проблемы в твоем воспитании...

В доступной для твоего возраста форме я старалась рассказать тебе об Октябрьской революции, о Ленине. Мне хотелось, чтобы ты поняла, за что



Инга Тарасова.

борется твоя мать. Ведь каждый день меня могла арестовать полиция.

Между тем партия решила, что мне надо переехать в Париж. В это время там был образован Народный фронт, и представлялось больше возможностей для политической деятельности. Снова встал вопрос о тебе—на кого можно тебя оставить, кто о тебе позаботится в случае моего ареста.

Дитя мое! С тех пор, как ты родилась, у меня стало две жизни, два тела, два сердца. Расстаться с тобой казалось невозможным. Я смотрела на мир своими и твоими глазами, любила людей, которые любили тебя. Ты стала моим вторым я. Ради тебя, именно ради тебя должна была я бороться за коммунизм, без компромисса, до конца.

Нет, ни на кого я не могла оставить тебя, в Париж мы поехали вместе.

Это был Париж Народного фронта. Реакция сдала ведущие позиции, и тон в городе задавали рабочие массы. На улицах, в метро пели «Интернационал», молодежь ходила по бульварам с красными флагами. Каждый день организовывались митинги. Всем политическим эмигрантам было предоставлено убежище, они пользовались одинаковыми правами с французами. В день 14 июля, национального праздника Франции, трудовой Париж прошел маршем по четырем бульварам к Бастилии. На крышах, деревьях и фонарях висели ленты. Ты тоже шла со всеми в колонне. Вечером на улицах танцевал народ.

Такие торжества тебе очень нравились. Жить нам было трудно. Мы редко бывали вместе. Днем я работала бонной в богатой французской семье, а ты находилась у мадам Трике, славной женщины. Поймешь ли ты, как тяжело мне было ухаживать за чужим ребенком, в то время, как свой жил без моего присмотра... Вечерами я уходила на выполнение заданий Французской компартии. Видела тебя только ночью (еще и теперь ощущаю твои руки на моей шее). А утром снова работа.

Помнишь ли ты добрую Ханну из Бюро для детей эмигрантов, пославшую тебя на несколько месяцев в Швейцарию, в семью, которая согласилась в порядке благотворительности взять тебя на некоторое время? Многое я пережила в те дни.

...От партии поступила директива: мне пройти подготовку на курсах медсестер с последующей отправкой в сражающуюся Испанию. Целую неделю я ходила, как неживая. Я не хотела расставаться с тобой, не хотела огорчать тебя и обманывать. Но совесть моя твердила: «Именно ради своего ребенка ты и должна поехать в Испанию! Если каждая мать будет думать только о своих детях, никогда не будет победы над фашизмом». Мое решение ускорилось обращением Ромена Роллана ко всем передовым людям мира, он призывал их спасти детей Испании.

Как можно было не откликнуться на это. Мой выбор окончательно определился. Но я никогда не забывала о тебе, тем более что югославские товарищи пообещали мне отправить тебя в Советский Союз. Это было лучшее, о чем я только могла мечтать.

Что было потом?

Перед отъездом я купила тебе детский зонтик с собачьей головкой вместо ручки и написала тебе длинное письмо, которое тебе должна была прочесть Ханна, когда ты вернешься из Швейцарии. Все друзья были мобилизованы, чтобы встретить тебя на вокзале. (Позже, в 1939 году, они рассказывали, как это было.)

Наши дороги разошлись. Но ты была спасена. Я и сейчас содрогаюсь от одной мысли, представив себе, что могло бы с тобой произойти, окажись ты впоследствии, как это случилось со мной, под властью Гитлера. Ты была спасена!

Письмо 4

Дитя мое! Теперь я расскажу тебе о самом прекрасном в моей жизни. К сожалению, слова покажутся бледными по сравнению с тем, что было в действительности. Прекрасное началось в Париже, и связано оно с Испанией. Французский народ горел желанием помочь испанским рабочим разгромить Франко и его генералов. Во всех рабочих кварталах Парижа открылись бюро для добровольцев, осаждаемые длинной очередью людей. В послеобеденные часы парижское метро выбрасывало бесчисленные человеческие массы, спешившие на митинги в защиту Испании. На улицах люди выкрикивали лозунги: «Денег для Испании окровавленной, для Испании борющейся!»

Однажды на зимнем велодроме выступала Пасионария [1]. С двух часов до вечера все ближайшие улицы были полны народа. Высокая, гордая, красивая женщина взошла на трибуну, и в честь ее в зале разразилась буря оваций. Никогда не забуду эту женщину. Она говорила на испанском языке, и все же ее понимали все. Эта женщина была как пламя.

Во Францию стекались добровольцы изо всех стран мира: рабочие и интеллигенты, художники и поэты, коммунисты и беспартийные, белокожие и черные. Эти люди понимали друг друга с полуслова, были счастливы, что им представлялась возможность открыто сражаться за свободу.

Потом был Марсель. Ночью нашу группу медицинских сестер тайно погрузили на испанский пароход, и через пару дней мы уже были в Барселоне. Встречающие на пристани приветствовали нас пением «Интернационала» и вскинутыми над головой сжатыми в кулак руками — символом рабочей солидарности.

До центра Интернациональных бригад поезд шел только ночью, чтобы не подвергаться бомбардировкам со стороны немецких и итальянских самолетов, и все же население знало о нас. На каждом полустанке нас встречали с цветами и апельсинами, матери поднимали своих детей, чтобы они могли увидеть добровольцев. Такое торжество не выпадало на долю ни одного короля.

Госпитали интербригад располагались в Мурсии, на юге Испании. Работа в них была тяжелой. Все время прибывали транспорты с тяжелоранеными.

В моей палате лежали люди разных национальностей. Утром, когда я входила в помещение со словами «Привет всем!», мне отвечали на тридцати языках.

На первых порах мне приходилось трудно, в особенности когда меня назначили старшей сестрой. Я не была профессиональным медицинским работником, знаний, полученных на практических курсах, явно было недостаточно. Однако не сидеть же сложа руки, особенно когда знаешь, что некоторые из врачей заподозрены в связях с фашистами. Каких бед мог наделать один такой человек. Я сблизилась с испанскими девушками-уборщицами, мыла с ними полы и окна, стала жить, как они. Профашистские врачи потешались надо мною, говорили: «Прекрасная у нас старшая сестра! Горничная!» Но я победила. С помощью девушек мне удалось спасти многие жизни. Это был хороший для меня урок.

Дитя мое! В детстве и молодости я мало смеялась. В Испании же вопреки бомбам, голоду, нужде прошли мои самые счастливые годы. Там я не испытывала одиночества. Люди были необыкновенно хороши и чисты. Служение правому делу возвысило их в собственных глазах, вселило уверенность в действиях, и нет ничего удивительного в том, что многие из них сделались настоящими героями, выросли до политических вождей, крупных военачальников, ученых, художников.

Ты знаешь, что война в Испании нами была проиграна. Истекающие кровью республиканцы тянулись на север страны, чтобы через Пиренеи перейти во Францию. Паники не было...

Не забуду, как мы переправляли транспорт раненых через реку Эбро. Фашисты хотели взорвать мост, открывавший нам дорогу в Каталонию. Поезд шел медленно, часто останавливался, нервы у всех были напряжены до предела. И вдруг раздался мягкий голос, затянувший негритянскую песню «Поведи мой народ». Ее пел негр — политический комиссар. Рядом рвались бомбы, витала смерть, но никто даже не пошевельнулся, боясь прервать певца. Наш состав благополучно перебрался на другой берег Эбро.

И еще один эпизод. Мы проезжали город Тортосу, превращенный фашистами в груду развалин. И вот среди этого мертвого царства появляется испанский рабочий и, презирая опасность, указывает нам правильное направление движения. Он стоял как символ побежденной, но не сдавшейся Испании.

Между тем фашизм наступал уже повсюду. Во Франции было покончено с Народным фронтом. Торжествовала реакция. Нас, интербригадовцев, встретили, как врагов. Стоял февраль. И нас загнали за колючую проволоку, в концлагерь.

Свободе пришел конец. Снова начиналась жизнь, полная одиночества, опасностей и нужды.

Дорогая дочь!

...Я должна рассказать тебе о моем Сиднее. Много лет прошло с тех пор, целая жизнь, но воспоминания о той поре живут во мне всегда, как вечная весна. Он был американец, хирург, я познакомилась с ним в Испании.

---

[1] Долорес Ибаррури.

Сидней рассказывал мне, что в Америке у него было хорошее место врача, он много зарабатывал, но жизнь казалась ему пустой и отвратительной. Когда вспыхнула гражданская война в Испании, он добровольно вызвался помочь республиканцам. Сидней был великолепным специалистом своего дела. Вначале мы работали с ним в одном госпитале, наши отношения носили сердечный, уважительный характер. Я многому старалась научиться у него.

Но вот однажды, накануне Нового года, он прислал мне приглашение к праздничному чаю. Я пришла. Все было, как всегда. Мы много говорили о нашей работе, товарищах. Было весело и непринужденно. Когда я простилась, вслед за мной вышел политкомиссар, хороший друг Сиднея. Он сказал: «Лиза, ты разве не чувствуешь, что Сидней тебя любит?» Я опешила. Не помню, что я ему ответила, но домой я шла, как во сне. Самым страшным в этой истории было то, что и я испытывала к Сиднею чувства, о которых только что сообщил мне его товарищ.

Впервые увидав Сиднея, я сказала себе: «Лиза, этот человек создан для тебя». В проявлении чувств я всегда была очень осторожна. Но это была любовь с первого взгляда. Я влюбилась и делала все, чтобы скрыть любовь. Работа в госпитале с его приходом стала вдруг удивительно легкой. Но мог ли он меня полюбить? Я твердила себе: «Лиза, это счастье не для тебя, ты очерствела, побывав в тюрьмах, испытала нужду, голод».

...Много позже Сидней сам пришел ко мне. Оставаясь стоять у дверей, он вдруг сказал совсем тихо: «Лиза, я люблю вас». И больше ничего. Не последовало никаких красивых фраз, никаких пылких действий.

Мы никогда не говорили ни о нашем прошлом, ни о нашем будущем. Наша жизнь всецело принадлежала Испании. Что случится со страной, то будет и с нами. Так оно и произошло. Интербригады должны были покинуть ее. Первыми уезжали те, кто мог вернуться к себе на родину: шведы, американцы, французы, англичане. Нам же, профессиональным революционерам, нужно было еще подыскать страну, которая бы нас приняла.

Так наступил час прощания. Был хороший весенний день: голубое небо, блестевшее море. Сидя в автобусе, Сидней поднял руку с сжатым кулаком — в знак прощания. Я сделала то же — и это было все.

Мы оставались. Нам предстояло еще долго идти под бомбами, унося в своих сердцах боль и ненависть. Мы были последними солдатами республиканской Испании.

Сидней ждал меня в Париже. Партия поручила мне новое задание. Он возвращался в Америку.

И вот вновь восемь дней счастья.

Париж был прекрасен, как никогда. Каждый дом, каждая грязная улица казались чудом. Мы бродили по городу, сидели в маленьких кафе и говорили без умолку. Но пришло расставание.

Мы пришли на вокзал, в буфете выпили кофе. Я смотрела на большие часы: стрелки двигались медленно, но ползли вперед. Еще 10 минут. Сидней вошел в вагон, поднял руку со сжатым кулаком. Я ему ответила тем же, повернулась и пошла прочь. Я не хотела видеть, как тронется поезд, ни разу не обернулась. Мы даже не поцеловались.

За спиной раздался стук колес. И вдруг сердце сделалось тяжелым. Я почувствовала себя старой, некрасивой, усталой. Блестящий Париж стал вдруг серым и неряшливым.

Во время войны Сидней был в американской армии в Италии. Он разыскал меня и написал, что ему хочется со мною увидеться. Я послала ему свое согласие, но ответа не получила. Вероятно, американские власти преследовали после войны коммунистов и не пропускали их письма.

Вот, дитя мое, и все о Сиднее.

Письмо 5

...Когда я ехала в Париж, я мысленно спрашивала себя: «Кто сошел с ума — люди в поезде или я?» В вагоне сидели разукрашенные, напомаженные женщины, они были милы и красивы, болтали о пустяках, а мне еще слышался рев фашистских самолетов, взрывы бомб, перед глазами стояли искалеченные люди.

Париж изменил свое лицо. В нем не было и следа времени Народного фронта. Снова мы под неусыпным присмотром властей. Ночью в дверь стучат кулаки: «Откройте! Ваши документы!» На улице: «Ваши документы!» В поисках работы: «Ваши документы!» А документы свидетельствуют о том, что мы участники испанских событий. Надо каждый день являться в полицию и добиваться разрешения еще на 24 часа продлить пребывание в стране. По ночам проводятся аресты испанских борцов, их отправляют в концлагеря. Нас становится все меньше и меньше. Лишь редким счастливцам удается уехать в Советский Союз.

Дошла очередь и до меня. Полицейский чиновник объявил: «Вас высылают из Парижа». Он подвел меня к карте Франции и сказал с циничной усмешкой: «Выбирайте себе новое место в нашей прекрасной стране. Большие города, пограничные зоны, пристани и побережье, стратегические пункты для вас запрещены».

Пришлось задуматься. Как молния, блеснула мысль: «Поеду в Арль, туда, где Винцент Ван Гог создал на утешение миру столько прекрасных картин». Я назвала город Арль, маленький красивый городок со старинными римскими постройками, амфитеатром, палатами. В нем много итальянцев, покинувших родину в поисках заработка.

Бродя по узким улицам города, я спрашивала себя: «Как я буду здесь жить?» Вдруг мужской голос окликнул: «Лиза!» Я увидела Торичелли — в Мурсии он лежал в моей палате, и там ему ампутировали ногу. Торичелли рассказал, что в городе много бывших испанцев, он ввел меня в коллектив итальянских антифашистов. Среди товарищей я вновь почувствовала себя уверенной, готовой к действию. Нашлась и работа. Вначале подавальщицей в ресторане, а потом швеей у дочери старого анархиста, который почти всю свою жизнь находился в тюрьмах.

Но политическая обстановка накалялась. Немецкий фашизм начал войну с Францией. Меня арестовали и направили в концлагерь Гюрс в Пиренеях, куда сажали участников гражданской войны в Испании, а также немцев и австрийцев.

В лагере было 10 тысяч женщин из Германии, Австрии, Польши, Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии. Но большую часть составляли еврейские женщины, бежавшие от нацизма. Многие из них были из состоятельных буржуазных семей или из интеллигенции. На проволоке вокруг бараков висели их меховые шубы, дорогое шелковое белье. Их гоняли, как бездомных собак, по Европе, но они в силу своей классовой ограниченности ничего не понимали.

Совсем по-иному вели себя испанские борцы. Летчики республиканской авиации, гордые офицеры народной армии, основали в лагере Гюрс свои группы. Перед их глазами стояли Пиренеи, горы их родины. Они боролись за право жить.

Вести с воли были неутешительными: Гитлер маршировал по городам и селам Франции. Предательство генералов привело к быстрому разгрому французской армии и оккупации Парижа. В панике бежали люди на юг, ища спасения от неминуемой гибели.

Все в лагере знали, что немцы придут и сюда. И это случилось. Однажды ночью, лежа на земле в бараке, мы услыхали грохот грузовиков и танков, быстро приближающихся в нашу сторону. Мы поняли, что это немцы преследуют колонны французских беженцев. Как всегда в таких случаях бывает, узники начали строить планы спасения, вплоть до бегства в Африку. То были смехотворные планы. На следующее утро ворота лагеря были настежь открыты, и перед французским стражем, не державшим на этот раз в руках плетку для собак, предстал офицер-эсэсовец. Не человек, а кусок холодного железа, стальной нож. Его глаза, типичные для национал-социалиста, кололи, как иголки. Кровь застыла в моих жилах: никогда я не видела таких жестоких, ужасных глаз на лице человека. В этот миг я поняла, что меня ожидает...

Письмо 6

...Мое дорогое, дорогое дитя! Как твое здоровье? Желтуха — продолжительная болезнь и требует правильного питания. Есть ли у тебя возможность соблюдать диету?..

Ты спрашиваешь, почему я неожиданно прервала свое жизнеописание. Пережитое во времена Гитлера настолько ужасно, а мне так не хочется тебя обременять этими воспоминаниями. Да и самой тяжело ворошить прошлое.

Но, несмотря на все это, решилась все-таки рассказать тебе и об этом периоде жизни. Любые воспоминания смягчаются действительностью. Поэтому многое в моем рассказе будет выглядеть менее трагично, чем было на самом деле.

Так вот, слушай!

После разделения Франции на две части — с правительством в Виши и оккупированную немцами,— мне удалось вернуться в Арль и снова стать швеей у итальянской подруги. По заданию Австрийской коммунистической партии я должна была скоро выехать на родину, чтобы там продолжить политическую деятельность.

И вот я вновь в своем любимом Париже. Но как он изменился! Уже на вокзале встретили меня холодные, резкие слова немецкой команды. Не слышна была мягкая французская речь. Всюду царил страшный прусский порядок. Только тот, кто знал Францию, любил ее, мог понять, какие тяжелые времена для нее настали. Парижане голодали, выстаивали длинные очереди за хлебом. Вместо гордого трехцветного флага повсюду висели флаги с фашистской свастикой, символом варварства и убийств. Глаза французов были полны страха и ненависти. На улицах, в метро часто устраивались облавы, немцы искали оружие и листовки. Каждое утро они обклеивали стены домов желтыми плакатами, в которых был один и тот же текст:

«Комендатура приказывает. За немецкого солдата, убитого французом, расстрелять 150 заложников». Расстреливали в первую очередь коммунистов, их детей, родственников.

Но народ сломить нельзя. В ответ на репрессии гитлеровцев в стране широко развернулось движение Сопротивления, в котором участвовали все честные люди. Взлетали на воздух военные поезда, уничтожались фашистские солдаты и офицеры, не прекращалась расклейка листовок.

В Париже я быстро восстановила связь с австрийскими коммунистами и была направлена ими в наш комитет при движении Сопротивления.

Что он собой представлял? Костяк его составляли политэмигранты-антифашисты, владевшие немецким языком, которые вели агитацию против войны в войсках вермахта. Нами также издавалась подпольная газета «Солдат на Западе», которую мы распространяли вместе с листовками в казармах. Добывали и прятали оружие, динамит для партизан.

Мы старались разъяснить немецким солдатам, что война Гитлером будет проиграна, призывали помогать нам, давать ценную информацию, перевозить нелегальный материал в Германию и Австрию. Больше всего для таких заданий подходили женщины. Но это была страшная работа! Лично я занималась ею два года. Мы подходили к немецким солдатам, улыбались им, старались обратить на себя их внимание. Мы были осторожны. Полагались только на свой политический и человеческой инстинкт, когда надо было быстро и наверняка оценить человека. Одним мы сразу вручали конверт с листовками, а других только постепенно склоняли на свою сторону, убеждали их в бесперспективности войны.

Тысячи людей прошли через наши руки за это время. Нам удалось создать солдатские комитеты в оккупационных войсках и с их помощью распространять листовки, получать оружие. Через эти комитеты нам удалось восстановить связь с Германией и Австрией. Это была большая победа! Вначале и я ходила «на охоту». Но в дальнейшем на меня возложили организационную часть этой работы, а это было еще труднее. Нужно было распределять задания между товарищами на основании их рассказов о солдатах. В случае моих ошибочных решений наши агитаторы могли попасть в руки гестапо, и я была бы виновной в их гибели. Ежедневно я выходила из дому со свертком нелегальных листовок, спрятанных на животе. Их нужно было раздать нашим женщинам. Сначала я, понятно, боялась провала, но потом свыклась с обстановкой настолько, что вообще забыла о страхе. Даже во время облавы. У нас существовала строжайшая конспирация, жили мы отдельно друг от друга, встречались только на работе. Формально я числилась преподавателем немецкого языка в школе.

Произошел такой случай.

Утром меня разбудили громкие голоса в прихожей отеля, где я снимала комнату. Послышался стук в дверь. Немцы! В комнате у меня находился мешок с нелегальным материалом. Что с ним делать? Представь себе, в такую минуту я становлюсь совершенно спокойной. Взяла и открыла дверь. Передо мной стояла французская полиция: «Ваши документы. Пройдите!» Во дворе находился автомобиль, набитый молодыми девушками. Когда я его увидела, у меня от сердца сразу же отлегло: проводилась облава на проституток. В полицейском участке, куда нас доставили, я предъявила документы, что работаю в школе, и меня выпустили. Но сам факт моего ареста был неприятен. В комитете решили срочно «передислоцировать» меня. Я получила фальшивый паспорт на имя Марии-Луизы Беранже, жительницы Эльзас-Лотарингии, и переехала в другую часть Парижа. Отныне с Лизой Гаврич было «покончено». Я Мария-Луиза Беранже.

Шел 1943 год. Партия поручила мне и моим товарищам перебраться в Вену для продолжения подпольной деятельности. Было рекомендовано осуществить выезд через биржу труда. Пришлось разыграть комедию: у меня в Вене жених, и я хочу поехать к нему. В вагоне я ехала с разным отребьем: шпионами, фашистами, уголовниками. Кто бы иной



Инга Тарасова с отцом Миланом Гавричем накануне его ареста. Снимок сделан в городе Тузла (Югославия) в 1931 году.

согласился добровольио ехать иа работу в Германию?

В Австрии я увидела любимые горы с их снежными вершинамн, вдыхала чистый воздух, вспоминалось детство, но это была уже не та Австрия, всю страну окутала коричневая паутина. Я почувствовала себя чужой в ней.

Письмо 7

Дорогая девочка!

Сегодня, 3 мая, в почтовом ящике нашла от тебя два письма и открытку. На улице дождь. Тоскливо. Но твои письма!.. Они как рукой сняли всю мою грусть.

Как я горжусь тобой!

А теперь продолжаю свой рассказ.

Слушай!

...Перед Южным вокзалом завербованных ожидали грузовики. Нас посадили в них и отправили в лагерь для иностранных рабочих. Я находилась среди всякого сброда, проезжая через родную Вену. Знакомые улицы, дома, площади... Я вернулась домой! Домой? Нет, не домой. Надо мной висела опасность быть узнанной.

Нас привезли в лагерь. Гестаповец прокричал: «Свиньи, проститутки!» В лагерь были согнаны люди со всего света — с Украины, из Польши, Югославии,— смешение языков, судеб, характеров. Утром нас построили. Мы стояли, как рабы, ожидая прихода хозяев. Рабочих набирали для военной промышленности, для горных и опасных работ. Мне предстояло трудиться в Венском арсенале. Ходить по нему мы могли только в сопровождении полицейского или солдата. Бараки были полны грязи. Мною овладела мысль: «Здесь оставаться нельзя, нужно вырваться».

Зная сентиментальность жителей Вены, я решила сыграть на ней. На утро попросилась в канцелярию управления. Там сидели старые австрийские чиновники. Гестаповцев не было. Я расплакалась и на ломаном немецком языке обратилась к ним: «Посмотрите на меня, дорогие господа! Я из хорошей семьи, и я не могу жить в обществе проституток. У нас военный завод, а я боюсь бомб. Прошу вас, господа, переведите меня куда-нибудь!» Сквозь слезы я наблюдала за тем, как действует на них моя истерика. Один чиновник снял телефонную трубку, сказал кому-то: «Здесь женщина из Эльзас-Лотарингии, неплохо говорит по-немецки и выглядит порядочной. Посылаем ее к вам». Куда?! Чиновник пояснил коллегам: «Буфетчику нужна прислуга, мы пошлем ее к нему». Победа! Победа!

Так я стала прислугой у эсэсовца, которого знала и боялась вся округа. Свой буфет он содержал в гостинице, где каждый вечер собирались немцы. Мое положение было тяжелым и опасным. Хозяин отличался подозрительностью, все видел, все замечал, постоянно задавал каверзные вопросы. Но это было еще полбеды. Ведь я получила задание от партии наладить связь с товарищами, а времени на его выполнение у меня не было, так как я не имела права отлучаться из дому.

Возник новый план. У меня обострился абсцесс на шее. Сказав об этом хозяину, я получила разрешение сходить на биржу труда к врачу для консультации. Дело дошло до анекдота. Доктор, к которому я пришла, оказался очень дружелюбным (австрийцы не могли простить немцам оккупации и делали все возможное, чтобы им отомстить. Особенно это стало заметным с 1943 года, после поражения фашистов под Сталинградом). Он вызвался помочь Луизе Беранже вернуться назад во Францию. Тогда мне пришлось осторожно ему объяснить, что у меня здесь жених, которого я не желаю оставлять, но вот если бы он дал мне справку, что работа домашней прислуги мне не по силам, то я была бы ему очень благодарна. Доктор был добр до конца и перевел меня на легкую работу на фабрику по изготовлению кожаных сумок.

Я попала в маленькую мастерскую, где шили портмоне. Среди рабочих немало было тех, кто раньше состоял в социал-демократической партии, но теперь они об этом старались помалкивать.

Надо было начинать налаживать связи.

В ту пору мы часто мечтали о будущем. Московское радио сообщало о наступлении Красной Армии; мы представляли себе освобожденную от нацизма Австрию, строящую социализм. Жили как в лихорадке. Запомнила такой разговор. Это было в мае

1944 года. Франц, товарищ моей подруги, мечтал вслух: «Когда построим социализм, я первый раз в жизни закажу себе костюм в ателье, так надоело носить одежду с чужого плеча! Все должно быть сделано точно по мерке». (Франц был рабочим, после венских боев 1934 года эмигрировал в СССР, участвовал в строительстве Магнитогорска. Позже он работал нелегально в Австрии, был вынужден убежать от полиции во Францию через Альпы. Во Франции он попал в лагерь, откуда тоже бежал. Франц всегда был голоден и плохо одет. Он не дожил до осуществления своей мечты. В Дахау его повесили.)

Осторожно затрагивала я политические вопросы в беседах со старыми социал-демократами. Постепенно мы начали проникаться доверием друг к другу, восстанавливать связи с другими рабочими. К этому времени нас было уже 200 австрийских коммунистов, вернувшихся из Франции и начавших здесь агитационную работу.

Но вскоре пришел конец.

Меня вызвали в канцелярию, сообщив, что там меня ожидают два господина. Душа моя замерла. Как в лихорадке, я приказывала себе: «Будь сильной, будь сильной». Надо идти.

«Кто вы?» — был первый вопрос, который задали мне гестаповцы.

«Я Мария-Луиза Беранже из Эльзаса».

«Врете! Вы вернувшаяся эмигрантка. Следуйте за нами!»,— приказали они.

Находящиеся в помещении люди, услышав все, испуганно согнули головы. Я сказала им: «До свидания!» И двое рабочих мужественно ответили мне: «До свидания!» Это придало мне силы. (В 1945 году я побывала на этой фабрике и встретилась с этими рабочими.)

Дитя мое! Трудно описать, что я тогда перечувствовала. Но было только одно желание: быть мужественной, быть верной партии, никого не выдать. Меня отправили в полицейскую тюрьму. Толчок в спину — и тяжелая дверь с треском за мной захлопнулась. Все кончилось. Отсюда никто не выходил живым...

Письмо 8

...В камере были железная кровать, деревянный стол, два стула и унитаз. Высоко под потолком маленькое окошко с решеткой, единственный источник света. В тяжелой деревянной двери — глазок, для надзирателя.

Я стояла посередине камеры и думала: «Да, это конец». Но, обуздав нервы, приказала себе: «Пока живешь — живи!»

Первое, чем я занялась,— начала отыскивать следы людей. И стены многое рассказали мне.

Дитя мое! Какие стихотворения, какие слова были нацарапаны на холодных, белых камнях! Такие трудно создать поэтам.

Я почувствовала, что камера населена обнаженными человеческими душами.

Мой слух стал настолько тонким, что я уже вскоре могла распознавать, в каком душевном состоянии находился человек, прошедший по коридору, чувствовал ли он страх, был ли он силен, расшифровывала любые шорохи, научилась угадывать по звуку, какой автомобиль увозил узников на допрос.

Кто был в тюрьмах, тот знает, в каком темпе живет человек. В памяти всплывает всякая забытая мелочь из детства. Многое пересматривается, душа очищается от наносного, ненужного. И вдруг воображение переносит тебя в будущее. Ты видишь себя с любимыми людьми, строишь планы. Появляется вера в себя, убеждение, что не умрешь. Это порыв к жизни, желание продолжать ее. Но возвращается логика. Она неумолима: «Ты в руках гестапо. Они никогда тебя не выпустят отсюда живой. Не надейся и на то, что тебя сможет освободить Красная Армия. Прежде, чем она войдет в Вену, тебя, как и других коммунистов, фашисты постараются уничтожить. Они сделают это из чувства мести за свое поражение, из чувства ненависти к нам, коммунистам».

В своей камере на стене я нашла таблицу, с помощью которой можно было стуком переговариваться с соседями. Вновь я была среди своих людей. Никто не может убить в человеке человека, если он сам не допустит этого.

Заработал канал тюремной морзянки. Я быстро узнала, что справа от меня сидит Эгон, что его вернули назад из госпиталя, куда он попал после допроса, перерезав себе вены. Другой сосед (тоже товарищ по работе в Париже) стуком сообщал, что надо остерегаться того-то и того-то, которые являются шпионами гестапо. Узники информировали друг друга всевозможными способами. По утрам в умывальне можно было найти какой-нибудь знак на стене, который мог помочь на допросе. На миске с супом можно было прочесть какое-либо сообщение.

Ужаснее всего были моменты, когда уши различали звук подъехавшего автомобиля. Кого-то повезут на допрос — кого? Ноги делались ватными, тело начинало дрожать, боль вонзалась в твое сердце. Все было сосредоточено на одной мысли: будь крепкой!

Дитя мое! Мое дорогое дитя! Каждый раз, когда меня увозили, я обращалась мысленно к тебе, чтобы ты дала мне силы выстоять! Я знала, перед допросом тело должно быть слабым, и поэтому не принимала пищу в это время. Любую боль можно выдержать. Но есть боль особого рода. Это когда ты узнаешь, что в рядах партии есть изменники, предатели. Мой арест произошел по следующим обстоятельствам.

Австрийские гестаповцы, обеспокоенные успехами нашей деятельности во Франции и Бельгии, послали в Париж своих людей. Некоторое время их агенты следили за одним из наших товарищей, подослали к нему девушку, которая «случайно» с ним познакомилась. Глупый парень влюбился, забыл предосторожность. Гестапо узнало дом, где были спрятаны нелегальные материалы. Через некоторое время сюда прибыла связная из Лиона, привезла очередную партию литературы. Ее арестовали и допросили. Женщина оказалась слабой, она сообщила свой адрес, по которому тут же был произведен обыск и обнаружен список 200 австрийских коммунистов, вернувшихся на родину для нелегальной работы...

Письмо 9

...Сколько людей повидала я, находясь в заключении!

Напротив моей камеры сидел старый генерал Кернер. При Габсбургах он был военным, в 1924 году стал социал-демократом. 12 февраля 1934 года, когда фашистские орудия стали бить по домам рабочих, он возглавил отряды рабочей республиканской охраны. Высокого роста, крепкого телосложения, храбрый и гуманный человек, он стал любимцем рабочих Вены. Впоследствии ему удалось

спастись. В 1945 году он был избран городским головой Вены, а в 1951 году стал президентом Австрии.

В другой камере находился барон Мозер. Видный адвокат, коллекционер старины. За него ходатайствовали непрестанно перед гестапо буржуазные демократы.

Еще дальше сидели две женщины: одна из них блестящая пианистка, дочь богатого торговца, вторая — молодая работница из семьи коммунистов. Муж этой работницы перешел на сторону Красной Армии и позже вернулся на нелегальную работу. Его предали. Арестовали всю семью.

Недалеко от меня томился мой товарищ Густль. Я знала его еще по Парижу. Рабочий парень, застенчивый, как девушка, он оставался всегда идеалистом и мечтателем. У него было плохо с одеждой. Я помогла ему приобрести голубой костюм. Он сказал: «Лиза, это первый костюм в моей жизни». Костюм ему очень шел. Но каким ужасным показался мне Густль в этом костюме, когда во время моего допроса гестаповцы ввели его и он опознал меня. Это был его первый костюм — и он же оказался у него последним: в Дахау Густля расстреляли.

И еще две истории, врезавшиеся в мою память.

В тюрьме находилась моя старая знакомая Тони. Впервые я встретилась с ней и ее товарищем Францем в концлагере на юге Франции. Прекрасно помню, как это было. Лил проливной дождь. Весь лагерь был в напряженном состоянии. Приближались немцы.

И вот в этой суматохе под косыми струями воды стояли посередине лагеря два человека в объятиях друг у друга. «Как, должно быть, эти люди любят друг друга»,— подумала я.

Позже, вернувшись в Арль, я встретила Тони, она пригласила меня в старый деревенский дом, где нашли приют наши товарищи. Дом был просторным, более чем скромная обстановка: два мешка с соломой, печка и стол, сколоченный Францем из досок. Возле печки постоянно сидела Тони и держала дверцу, которая то и дело выпадала,— она варила для всех нас пищу.

В этом пустом доме мы читали нелегальную литературу, изучали историю большевистской партии, ночью спорили до одурения.

Тони и Франц очень любили друг друга. После войны, в 1945 году я должна была первой сказать ей, что Франц мертв. Это было страшно. В Париже, на аэродроме, выскочив из самолета, Тони первым делом спросила: «Что с Францем?» «Он погиб». Она повернулась, побежала, не вымолвив ни одного слова. Я привела ее ночевать к себе. Тони ничего не вспоминала, не плакала. Но вся жизнь в ней замерла. И такой она осталась навсегда.

...Тюрьма была переполнена арестованными. Каждый день привозили новых. Тут были и коммунисты и функционеры социал-демократической партии, старые австрийские офицеры, были офицеры вермахта, принимавшие участие в покушении на Гитлера 20 июля 1944 года, христианские социалисты, работавшие нелегально, и некоторые из тех национал-социалистов, которые перед концом войны решили спасти свои головы.

Оказалась в ней и Манци — венгерская аристократка, певица Большой оперы. Ей было около пятидесяти лет, но она была еще красива.

Однажды утром надсмотрщик приказал мне перебраться в другую камеру. Войдя туда, я изумилась: глаза отвыкли от всего, кроме голых стен, а в этой камере были книги, коробки, платья. Это была камера Манци. Актриса многое рассказала о себе, о своей жизни, не говорила только, из-за чего была арестована. Это мы друг от друга скрывали. Пресыщенная жизнь высшего общества наскучила Манци, и она стала искать что-то настоящее, человеческое.

Незавидная судьба постигла ее мужа. Он был верен национал-социализму, служил военным атташе в Турции, но в последний момент вступил в связь с американцами и англичанами. Гитлеровцы такого не прощали. Он был арестован и переправлен в Берлин.

Рассказы Манци помогли мне уяснить, почему разные люди становились фашистами. Одни потому, что, растерявшись в хаосе буржуазной демократии, кризисе культуры, потеряли устойчивость и почувствовали себя бессильными. Другие, как утопающие за соломинку, ухватились за мечту о режиме «твердой власти». Третьи потому, что поверили демагогии о «чистоте расы», о «сверхчеловеке», о победе над «дегенерацией», мечтая о «народном единстве». И еще были те, кто хотел властвовать.

С Манци я много беседовала о демократии, о гуманизме, но никогда не говорила о коммунизме: она не принимала его, боялась. Посылки, которые ей передавали из дому, Манци делила со мной. Значительная часть содержимого этих посылок передавалась другим заключенным — коммунистам.

Через месяц Манци покинула тюрьму. Она детально объяснила мне, как можно добраться до их охотничьего замка, и, уходя, сказала: «Лиза, если у вас будет возможность бежать или если вы когонибудь пришлете,— я всех спрячу у себя...».

Таковы люди.

Письмо 10

...Войну Гитлер проиграл. Это стало ясно всем. Конспиративное общение заключенных друг с другом не прекращалось целыми днями. Ходила масса противоречивых слухов вплоть до того, что Красная Армия уже находится в Вене.

Ночью во дворе раздался голос, запевший фашистскую песню «Идем на Англию». Тюрьму охватило ликование. Все поняли, что открыт 2-й фронт, англичане и американцы высадились во Франции. Мы знали, что правительства этих стран затягивали его открытие, чтобы русские как можно дольше истекали кровью в схватке с Гитлером. И если уж они вынуждены были это сделать, то это означало, что Красная Армия победоносно приближается к Германии, а англичане и американцы спешат присоединиться к их наступлению, чтобы разделить лавры победы над фашизмом.

Надежды заключенных росли и росли, хотя здравая логика подсказывала: фашисты не оставят в живых никого из нас, они устроят нам «варфоломеевскую ночь».

Союзнические самолеты днем и ночью бомбили Вену. От взрывов содрогались стены тюрьмы.

Неожиданно нам сообщили, что судебный процесс над нами переносится на послевоенное время, а до тех пор нас переводят в Германию, в концлагерь.

Под впечатлением событий мы даже обрадовались этому сообщению, поверили, что спаслись от смерти.

На самом деле гестапо послало нас прямо в лагерь смерти. Без суда и следствия.

Ночь накануне отъезда. Тюремные камеры открыты, нас переводят в общее помещение. Там, как сардины в банке, сгрудились женщины всех национальностей.

В темноте слышатся крики, адресованные узникам-мужчинам, которые находятся за стеной в соседнем помещении:

«Кто из вас останется в живых, пусть отыщет моего сына. У него на правой руке большая родинка!»

«Я люблю тебя. Будь мужественным!»

«Не забывай меня никогда, но живи своей жизнью, если я больше не вернусь!»

«Передай привет моим родным!..»

Одна за другой летели в темную ночь просьбы, последние пожелания, прощения, наказы быть сильным и храбрым. Многие, у кого не было в тюрьме мужа или жены, все равно кричали о своих желаниях, уверенные в том, что кто-нибудь их услышит и запомнит.

Рано утром на грузовиках нас увезли в Ральм. Вена спокойно спала, пока колонна автомобилей проходила по ее улицам. Мещане ворочались в своих теплых кроватях, они старались закрыть глаза на то, что происходило.

Письмо 11

Дорогая моя! Сейчас я расскажу тебе о самом страшном в моей жизни. Оно настолько фантастически ужасно, что я и до сих пор не могу представить себе, как я его пережила.

Трудно писать об аде, но я обязана сделать это, потому что и сегодня есть силы, которые пытаются ввергнуть человечество в новую войну. Вы, молодые люди, должны знать о прошлом, чтобы защищать сегодняшний мир.

Итак, начинаю.

...Полицейские заталкивали нас в вагоны, в которых уже негде было даже стоять. Никто не знал, куда нас везут и что нас ожидает впереди, мы не могли бы даже додуматься, до каких «научных» методов убийства людей могут дойти нацисты в своей ярости перед грядущим возмездием.

Характерный пример. В период оккупации Парижа нам в руки попала французская листовка, в которой было помещено письмо заключенного из Освенцима (лагерь смерти в Польше). Он сообщал, что в этом лагере смерти миллионы людей уничтожаются в газовых камерах, а их прах идет на мыловарни.

Нас было трое, опытных коммунистов, но даже мы не поверили написанному. «Это ложная пропаганда,— сказали мы,— Гитлер нуждается в рабочей силе для военной промышленности и он не станет превращать людей в мыло».

Как мы были наивны!

Все, о чем человек не в состоянии даже подумать без содрогания, при Гитлере стало действительностью. Об этом люди не должны никогда забывать!

...Ехали мы по ночам. Женщины молчали, никто не разговаривал друг с другом. Напротив меня стояла молодая девушка, глаза которой были полны страха. Я отдала ей свой хлеб, и когда фашисты на какой-то железнодорожной станции стали ее высаживать, она вдруг взглянула на меня прямо и открыто. Это были другие глаза, глаза, полные отчаяния и гордости в одно и то же время. Ее руки сделали быстрое движение вокруг шеи, что означало: «Меня повесят...» И тут же эта рука поднялась вверх в революционном приветствии: все это длилось не более секунды, без слов. Это было прощание человека-борца.

В Праге нас погрузили в автомобили и отправили в центральную тюрьму Панкрац. Лабиринт коридоров, железные двери, решетки. У стен — ряды заключенных, лицом к стене. Гестаповец подает команду— колонна движется. Снова команда — колонна останавливается. Глаза глядят, глаза приветствуют. Царит мертвая тишина, только голос гестаповца, открывавшего и закрывавшего железные клетки, отзывается в высоте. Женщин привели в большое помещение, в котором можно было лечь на каменный пол.

Рано утром пробуждается жизнь в коридорах с железными решетками. Полицейский и два тюремных смотрителя начинают разносить пищу. Как роботы, они отмеривают шаги от одной двери к другой. Тук — дверь камеры открывается. Тук — кусок хлеба влетает внутрь. Тук — дверь снова закрывается. Тук-тук, тук-тук — темп мертвецов. Тук-тук — это холодные глаза гитлеровцев. Виселицы. Расстрелы. Но за каждой дверью, открывавшейся с этим ужасным стуком, живет надежда.

Мы знаем, Красная Армия наступает и гонит немецкую орду. Но в домах смерти фашистского режима царствует еще прежний темп. Тук-тук. Механизм функционирует, машина работает исправно, как в кошмарном сне, уничтожая жизни людей.

Эта земля полна голода и полна хлеба,
Эта земля полна жизни и полна смерти,
Бесконечна в бедности и богатстве.
Эта земля ярко полыхает красотой.
И будущее ее прекрасно и величественно!

Это написал 26-летний австрийский поэт Зойфер, погибший в Дахау.

Письмо 12

...Нас привезли в Лейпциг. Что стало с Германией! Развалины домов тянутся к небу, словно порванное кружево; выбитые окна глядят пустыми глазницами; по улицам волочатся усталые люди с серыми лицами.

Смерть, которую фашизм нес другим, настигла теперь и Германию. Смерть и страх. Гитлеровская пропаганда запугивала народ, трубила о том, что «коммунистические орды» сошлют молодое немецкое население в Сибирь и там уничтожат, что немцы понесут ответственность перед историей. На этом страхе вновь сыграл Гитлер, выдвинув сумасбродную идею формирования добровольческих отрядов для обороны руин.

Я попала работать в исправительный дом для немецкой молодежи, должна была чистить овощи. В огромном помещении прачечной стояли котлы с кипящим бельем. Их обслуживали бледные, изнуренные девушки. Все они попали сюда за мелкие провинности: одна отлучилась с работы, другая что-то взяла без разрешения из еды, и вот теперь их перевоспитывают национал-социалистическими методами.

При Гитлере в германских школах допускалось телесное наказание. Методы воспитания убеждением считались «еврейской дегенерацией», воспитание в духе гуманизма—«декадентщиной». Молодежь должна была расти по-солдатски, так же, как и во времена императора Фридриха: с помощью палки, голода, унижений.

Лозунги: «Слепое повиновение» и «Фюрер, прикажи — мы следуем за тобой» вошли в педагогику нацизма.

В исправительном доме толстые надсмотрщицы с палками в руках следили за работой девушек, и если кто-то из них не мог выдержать темпа работы, палка нещадно хлестала по худенькому телу. Проходя мимо нас, девушки смотрели на репу и морковь голодными глазами. Некоторые, забыв об осторожно-



На фото (слева направо): Лиза Гаврич, Инга Тарасова и Гертруда Бехман-Карафиат (сестра Лизы) — актриса Берлинского драматического театра, писательница, участница антифашистского движения с 1924 года. Снимок сделан в горах Словении в 1957 году.

сти, подходили ближе, хватали репу, словно это был деликатес. Из-за гнилой репы они рисковали быть избитыми, голодать, целую ночь простоять у стены. Можешь себе представить, что передумала и перечувствовала я, чистя эту проклятую репу. Если национал-социалисты так поступают со своей молодежью, провинившейся перед ними из-за пустяков, то что они могут сделать с нами, коммунистами?

Но на что способны они, я вскоре увидела в лагере Равенсбрюк, в 40 километрах от Берлина.

Под проливным дождем колонну женщин выгрузили из поезда. Мы буквально валились с ног. Единственным желанием было где-нибудь присесть, лечь. Ни о чем другом не думалось. Показались ворота лагеря. Яркие прожекторы освещали высокие решетки и часовых.

Одна за другой входили женщины в открытые ворота, и у каждой появлялась мысль: «Эта пустота пожирает меня. Отсюда я никогда не выберусь». И лишь одно желание — сесть. Сесть? Какая иллюзия! Колонну загнали в конуру, внутри которой дождевая вода доходила до колен. Там мы простояли целую вечность в ожидании утра. Первое, что мы увидели при свете,— это трупы, которые выносили на носилках. Мертвецы были все одинаковые: голые скелеты с желтой вытянутой шеей, на лицах видны только глаза, как стеклянные шары, и широко разверзнутые рты. Среди них не было ни молодых, ни старых. Были только исхудавшие скелеты с разверзнутыми ртами.

Что делалось здесь, в лагере, если люди превращались в скелеты?

Что творилось в Равенсбрюке и во всех остальных лагерях смерти третьего рейха?

Письмо 13

Мое дорогое дитя! Не стану описывать тебе зверских преступлений нацистов. Ты о них, конечно, много слышала, знаешь о том, что нацисты превращали концлагеря в опытные лаборатории для военной хирургии и экспериментов над человеческой психикой. Ты, конечно, знаешь, что творившееся в лагерях было специфическими методами политики нацизма, насилия буржуазии.

Я хочу рассказать о людях, о их слабостях и силе их духа. В лагере я столкнулась с поразительными вещами. Чем нелепее и безумнее выглядело событие, тем больше находилось людей, веривших ему. Люди теряли себя. В Освенциме, например, перед печами крематория в очереди спокойно стояли женщины, и когда одна из них крикнула: «Спасайтесь, вас ведут сжигать!» — остальные ответили: «Ты что, тоже веришь английской пропаганде?» Нечто подобное рассказала мне полячка, доктор из блока № 7 в Равенсбрюке. «Что мне делать? — говорила она.— Управляющий лагерем дал приказ до завтрашнего дня выбрать 50 женщин из моего блока. Каждому известно, что это для газовой печи, а женщины приходят недовольные, протестуют, почему я их фамилии не вставила в список для поездки в «дом отдыха».

Фашизм создавал целую систему безумных связей, и только немногие видели их насквозь, могли противопоставить им волю и знания. В первую очередь это относилось к людям, вооруженным марксистской идеологией. И эти знания, убежденность творили в лагере чудеса. Немецкие товарищи в течение 12 лет питались только водой с репой и кусочком хлеба, но они остались в живых; женщины-коммунистки, которые были пригнаны пешком из Освенцима в Равенсбрюк, простояли 2 дня и 2 ночи в январе под открытым небом и не погибли. Товарищ Тони, например, выдержала это, несмотря на то, что была больна тифом и температура доходила у нее до 40°.

Чудеса творятся лишь тогда, когда человек желает не только жить, но и знает, во имя чего он должен жить.

Человек — загадка. Он был для меня самым потрясающим открытием здесь. Я увидела его таким, каким никогда не предполагала увидеть. Вот об этом я и попытаюсь тебе сейчас рассказать.

...Была зима. Глубокий снег лежал на дорожках между бараками. Должны были привезти новую партию узников. Митцерл и я пошли в барак канцелярии. В снегу лежала женщина без сознания. Мы подняли ее и стали приводить в чувство. Она тихо про-

7. «Юность» № 3.

шептала: «Но я же 30 лет содержала шляпный магазин».

...Рашель, норвежка, жена немецкого коммуниста, тоже узница концлагеря, находилась уже 5 лет в аду Равенсбрюка, работала в канцелярии. Однажды она пришла ко мне и показала черное бальное платье, расшитое бисером. Она взяла его на складе. Я спросила: «Но, Рашель, зачем тебе это платье?» Она ответила совершенно спокойно: «Когда, наконец, наступит праздник, я буду в нем танцевать». Это говорил человек, знавший о том, что эсэсовцы намереваются взорвать лагерь раньше, чем Красная Армия успеет его освободить.

...В лагерь привезли венгерских евреек из Будапешта. Те, кто принадлежал к буржуазным кругам, приехали в меховых шубах, шелковом белье и с драгоценностями, спрятанными повсюду. Я тихо спросила: «Зачем вы приехали, почему не спрятались? Ведь Будапешт освободила Красная Армия». Ответ был: «Немцы обещали нам, что спасут нас от русских, и сказали, чтобы мы взяли с собой все драгоценности».

Через месяц их отправили в газовые печи.

...Автомобиль с газом (душегубка) остановился перед блоком 7. Эсэсовцы не гнали заключенных в него. Одна за другой узницы сами спокойно шли к автомобилю и садились. Машина двинулась и через 20 минут вновь вернулась. Опять повторилась та же картина. Ни одна из женщин не крикнула, не схватила фашиста за горло, не попыталась спастись. Они знали, что идут на смерть, но их воля была парализована, хотя эти же самые женщины ссорились между собой, если кусок хлеба у одной был меньше, чем у другой...

И все-таки, дитя мое, настоящие люди могут творить чудеса героизма, они сильнее СС, они непобедимы. Расскажу тебе о нашей маленькой Митцерл. Она родилась в рабочей семье, потеряла в детстве мать и осталась с отцом-пьяницей. С раннего детства она страдала искривлением позвоночника, три года пролежала в больнице в гипсе. Эта Митцерл — социал-демократка, стала настоящей героиней.

...Управление концлагеря прислало старосте барака приказ отобрать трех австрийских женщин «на рапорт». Это означало смертный приговор. Митцерл организовала спасение трех товарищей. Они были спрятаны в соломенные тюфяки. Во всех бараках был обыск, но женщин так и не нашли. Следующей ночью Митцерл вместе с заключенной югославкой-врачом при свете лучины вывела с рук этих женщин номера, вытатуированные в Освенциме, а затем помогла им с фальшивыми документами покинуть лагерь. Их отправили на один из военных заводов. Все трое живы и по сей день, одна из них Тони.

Митцерл спасла и меня. Когда в апреле 1945 года Красная Армия подходила все ближе к Берлину, управление лагеря решило всех заключенных, фамилии которых в списках были обозначены кружком (что означало — на расстрел), поместить в отдельный барак и уничтожить. Митцерл знала, что и на моей карточке находится кружок. Нелегальная партийная организация приняла решение попытаться отправить меня с транспортом Красного Креста в Швецию под видом француженки.

Суть дела тут вот в чем. Еще до завершения войны некоторые английские круги начали через немецкий генералитет зондировать почву о создании в Германии правительства без Гитлера. В качестве первой меры немцы должны были освободить из лагерей заключения лиц, подданных Норвегии, а позже Франции и Польши.

Митцерл удалось включить меня во французский список под именем Луизы Десме. Не забуду нашего прощания. Лил дождь. Я закутала лицо и прошла через контроль эсэсовок. Митцерл стояла поблизости, и пока нас не вывели из лагеря, она ни на минуту не оставляла меня одну.

Таких примеров много.

Масштаб, дитя мое, для всех один: человек. Нет настоящего коммуниста, если он не является настоящим, чистым человеком. Рано или поздно разногласия между теорией и практикой, сознанием и чувством у одних и недостатком характера у других обязательно выступят наружу.

Об этом ты должна всегда помнить.

Письмо 14

...В этом письме я хочу рассказать тебе подробнее о самом лагере. Жили мы в нем, как в переполненном троллейбусе. Своего имени больше не имели, у каждого из нас был лишь номер.

Наши платья, мыло, зубные щетки, фотографии любимых людей — все было отобрано и уничтожено.

Взамен дали лохмотья и пару деревянных башмаков.

Как вновь прибывших нас месяц держали в особом блоке, пока тюремщики определяли судьбу каждого из нас. Большинство отсылали на подземные военные заводы или рудники. В лагере существовала нелегальная партийная организация, которая в период этой «фильтрации» тоже изучала нас, предпринимала меры, чтобы спасти как можно больше людей, если для этого представится хотя бы малейшая возможность.

Бараки были оборудованы 3-этажными деревянными нарами, на которых на одно место приходилось по пять-шесть человек.

Стадо людей вскакивало в 3 часа утра и бежало на перекличку. Тот, кто падал от изнурения, получал град ударов, а если кого-то недоставало, то целый блок стоял до тех пор, пока не найдется потерявшийся. Случалось, что наказанные простаивали на одном месте весь день, а то и ночь.

После переклички начиналась «охота» на тех, кого отправляли на различные работы,— это повторялось ежедневно. Люди-тени в страхе убегали от своих преследователей кто куда мог: в бараки для больных, в помещения для мертвецов, прятались под нарами. Лагерные полицейские (тоже из заключенных) настигали их и тащили за волосы в колонны. Кто не сумел спастись, должен был шагать на работу.

Дитя мое! Что это была за картина! Каждое утро в 7 часов бесконечная колонна полосатых скелетов тащилась с тяжелыми лопатами мимо начальницы лагеря.

И эти скелеты, маршируя к воротам, должны были еще петь «О, ты, мой Тироль, как ты хорош!».

Поблизости стояли виллы с роскошными садами, в которых жили эсэсовцы, они были построены армией заключенных. На ужин нам полагался ломоть хлеба и маленький кусочек колбасы.

Все мы были пронумерованы. Никто никого не называл по имени, никто не рассказывал о себе, словно у людей исчезла потребность общения друг с другом. Ко всем мучениям присоединилось еще одно

невыносимое — вши. Многие женщины, потерявшие волю к спасению, были буквально ими съедены. Их тела кровоточили ранами, головы, как в парниках, были обрамлены толстой массой копошащихся насекомых. Души людей онемели. Ни разу я не видела плачущую женщину, не слышала, чтобы кто-то рассказывал о своих детях.

Человеческое в человеке было уничтожено.

Как я тебе уже писала, меня из этого ада спасла нелегальная партийная организация, в которой были товарищи, знавшие меня по Испании и Франции. Я перестала быть номером, я снова была с моими товарищами.

Дорогое дитя! Можешь ли ты понять мои чувства! Нет таких обстоятельств, при которых настоящий коммунист был бы одиноким, потерянным. Ни стены тюрьмы, ни гестапо, ни проволочные заграждения концлагеря, ни СС — ничто не в силах уничтожить волю к жизни и борьбе. Гитлер мог убить миллионы людей, но рабочее движение никогда не могло быть им уничтожено.

Письмо 15

...«Если останусь в живых, я обставлю весь дом цветами»,— говорила я подруге. В то время я думала о многом. После перехода в барак № 2, к друзьям, к нам снова вернулась способность к мечте. Это помогало выжить. Вечерами, когда невозможно было заснуть из-за зловоний, исходивших от сгоревших в крематории тел, мы вслух предавались своим мечтам о будущем.

Сегодня мне немного смешно, когда я вспоминаю нас прежних. Мы забывали, что в истории не бывает чудес, а существует только реальность.

Но в тех условиях мечта была необходима, нам нужно было выдержать — в этом была суть.

Мечта помогала нам быть сильными. Перед нашими глазами горели красные огни крематория. Каждый день мы слышали о расстрелах, отравлениях, операциях, после которых женщины оставались калеками. Каждую минуту смерть охотилась за нами. Эсэсовец, объезжая на велосипеде лагерь, мог остановиться перед бараком, выстроить женщин на перекличку и пальцем указать на ту или другую, после чего их убивали. Он не только не знал их имен, ему не нужно было знать даже их номера. Ему просто надо было выполнить норму, убить определенное число людей.

Где, как, когда наступит твоя очередь, об этом никто не знал, и это было самым страшным.

Вот почему нам нужна была мечта о будущем.

Дорогое мое дитя! Я написала тебе обо всем, что пережила, чтобы ты поняла, что в жизни все — и человек — имеет начало и конец, чтобы ты никогда не пропустила возможности сделать доброе дело. Часто мы находим время для всего, но только не для людей. Что ты сегодня сделала, сказала,— сделано и сказано. Но важно, каким делом ты занимаешься, важно, чтобы ты сохранила чистоту характера. Тогда эта чистота даст силу другим людям. Может случиться, что люди не заметят или не захотят заметить твоего благородства, но ты имей терпение. ты победишь. И в борьбе бывают падения. Мы часто ложимся усталые на землю, часто нам не хватает сил, но мы вновь обретаем их, встаем и идем к победе. Это и есть жизнь. Жизнь подчас грустная, подчас прекрасная.

Твоя мама.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Письма Лизы Гаврич к дочери, конечно же, не претендуют на всесторонний анализ событий второй мировой войны или движения Сопротивления фашизму. Лиза Гаврич хотела подробнее рассказать дочери о себе.

Интимные, без расчета на широкую огласку, эти письма написаны, тем не менее, страстным пером человека, остающегося, как каждый настоящий коммунист, последовательным в выражении своих чувств и взглядов. У Лизы Гаврич личный момент в жизни неразрывно связан с представлением об общественном долге, о месте и роли коммуниста в обстановке открытой схватки с врагом.

Есть в ее письмах к дочери важная мысль, адресованная не только Инге, но и ее сверстникам по Ивановскому интернациональному детскому дому, да и всей советской молодежи. Эта мысль — об опасности облегчённого, мещанского подхода в оценке подлинной сущности порядков, существующих на Западе.

Лиза Гаврич прямо заявляет, что недооценка противника, стремление представить дело таким образом, что капитализм ныне изменился, «подобрел» к простым людям, что в нем непопулярны идеи реванша, есть не что иное, как самообман, обывательщина, навеянная разными голосами «друзей» с Запада.

«Изменились вывески в буржуазном государстве, но сущность его осталась прежней», — говорит Лиза Гаврич.

Публикуя письма Лизы Гаврич, мы надеемся, что они найдут внимательного читателя, особенно среди нашей молодежи, и помогут людям узнать, в каких условиях, с каким напряжением духовных и физических сил проходила борьба коммунистов-интернационалистов за светлое будущее человечества, за мир во всем мире.

Георгий
БЛОК

ОКЕАН ПОД НОГАМИ

Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА.



Вода издревле волновала человека, особенио в жарких странах, где оиа всегда ценилась на вес золота; ее отсутствие грозило иенсчислимыми бедствиями. Ее значение общеизвестио и возрастает из века в век. В наши дни она рождает электроэнергию иа гидростанциях, да н иа тепловых — превращенная в пар высокой температуры под большим давлением. Без воды нельзя обойтись и в промышленности, в сельском хозяйстве, в коммунальном обслуживании. Выплавка одной тонны стали обходится в полторы тысячи кубометров воды; еще больше «выпивает» одна тонна резины — почти четыре тысячи, капрона — пять с половиной тысяч кубов. Высчитано, что современному человеку необходимо в среднем триста кубометров воды в год.

Несколько десятков лет назад высказывались опасения: дескать, расточительная планета растеряет в космическом пространстве сначала газовую, а затем водную оболочки. Сегодня эти опасения выглядят весьма и весьма спорными.

Вода преподносит человечеству один сюрприз за другим, одну загадку за другой.

Где больше всего воды на Земле? Конечно, ответит каждый, в Мировом океане. Но подсчеты, произведенные гидрологами, привели к неожиданному выводу: в Мировом океане лишь небольшая доля — всего пять процентов той воды, что имеется на нашей планете. Главные ее запасы невидимы, они у нас под ногами, упрятаны в земной коре, в толще подстилающей ее мантии. Здесь тридцать миллиардов кубических километров воды. (Напомним, один кубокилометр — это миллиард кубометров.) И если трудно объять мысленным взором Мировой океан, то как вообразить всю массу воды в глубинах земного шара?

Сверху донизу царство чудовищных температур и давлений пропитывает вода. В каком оиа состоянии — твердом, жидком или газообразном? Может быть, в каком-то ином, например, в плазменном? Тут область догадок, споров, сомнений...

С подземной теплой и горячей — так называемой термальной или геотермальной—водой человечество знакомо уже тысячелетия. Этой водой люди моются, лечат болезни, отапливают жилища. Вспомним хотя бы термы Каракаллы — горячие бани в Риме, знакомые каждому школьнику — любителю истории; вспомним и серные бани, куда жители грузинской столицы приходят знатно попариться, восстановить силы. Минеральные воды Кавказа еще до нашей эры славились своими целебными свойствами. Вода гейзеров согревает дома исландцев.

Но до недавнего времени считалось, что эти воды — только исключение иа нашей планете, что они находятся лишь иа отдельных ее точках. Новые горизонты в представлении о подземных водах и их использовании открыла буровая вышка; она позволила спуститься в недра, хотя еще и не слишком далеко: в осадочных породах не достигла десяти километров, в магматических — гранитах и базальтах — даже трех (а ведь толща земной коры равна тридцати—пятидесяти километрам).

Вскоре после второй мировой войны молодые энтузиасты и романтики, влекомые мечтой найти собственную сибирскую нефть, стали бурить одну скважину за другой на севере Тюменской области. На первых порах жар-птица не давалась в руки, хотя сииззу под большим напором наружу вырывались фонтаны воды.

— Вода тоже жидкость,— насмешливо бросали консерваторы (они отрицали возможность «поймать» нефть за Уральским хребтом).— Полезная, хотя не такая густая, как надобно.

Число буровых стремительно умножалось, перевалило за многие сотни. Однако даже после того, как в сентябре 1953 года в скважине около деревни Березово заревел и, разметав стальное оборудование, поднялся наружу мощный столб газа, недра по-прежнему выбрасывали воду. И миновали годы, прежде чем здесь хлынули мощные потоки нефти.

Глубинные воды стали «навязывать» себя исследователям в самые последние десятилетия. Ими, по существу, даже не интересовались; они сами себя объявляли, незваными лезли под ноги, выбрасывая сильные струи из опорных скважин, проложенных для геологического изучения недр. Эти скважины бурились в поисках полезных ископаемых, и, как у тюменских искателей нефти, фонтаны воды различной температуры своим появлением отнюдь не вызывали восторга. Судите сами: идет охота за нефтью, а получают воду, в зависимости от глубины то теплую, то горячую.

Сегодня, хотя не везде, проведена сплошная съемка геотермальных источников до глубины три с половиной тысячи метров. Оказа-



талы чистых, точно выкупанных, домов украшают улицы, где почти не бывает снежных заносов,— всегда горячие трубы под тротуарами и мостовой превращают снег в воду, которая стекает в канализацию.

Предметом гордости северян будет чудесное растительное царство за стеклянными стенами и крышей. Тут теплицы и оранжереи, где овощи и фрукты дают два-три урожая в год. Жители получают отсюда помидоры, огурцы, зеленый лук и редис, клубнику, дыни и виноград, а также заимствованные у садоводов Исландии бананы. В парке под стеклянной крышей соседствуют вечнозеленые кустарники и декоративные деревья.

В городе несколько плавательных бассейнов; они функционируют круглый год под открытым небом. Население всех возрастов охотно купается, слабоминерализованная целебного состава глубинная вода препятствует многим заболеваниям, лечит внутренние, кожные, нервные, костные болезни, нарушения обмена веществ. Термоградцам будут завидовать жители средней полосы.

— Нынешний уровень техники позволяет сделать Термоград реальностью уже в годы десятой пятилетки,— говорит профессор Макаренко.— Мне думается, архитекторы, инженеры и строители — те, что принимают участие в покорении вечной мерзлоты, не могут пройти мимо термальных источников, не принять их на вооружение.

Термоград пока принадлежит будущему. А сегодня? Сегодня некоторые черты этого города можно увидеть на Камчатке.

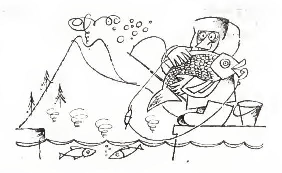
Камчатские гидротермы — генетические отпрыски вулканов, хотя и не обладают устрашающей мощью своих родичей. Атмосферная влага просачивается здесь по трещинам и щелям в почву, где теплеет, становится горячей, клокочет, ищет выхода наверх. По обратной дороге — длительной, длинной, запутанной — влага растворяет, впитывает различные соли и уносит их с собой. Минерализованная горячая вода изливается у подошв или на склонах огнедышащих гор, в живописных и безлюдных уголках. Температура ее колеблется в широких пределах от чуть-чуть теплой до бурлящего крутого кипятка (примерно 150 градусов Цельсия). Самые крупные источники — в долинах Банной, Паужетки, Ходутки, Паратунки...

Все эти гидротермы (вернее, изливаемая ими минеральная вода) близки по целебному эффекту знаменитым кавказским, типа Боржоми, Ессентуки, Славяновская, Джермук. Они в последние годы популярны не только на Камчатке, но и повсеместно на Дальнем Востоке.

— Но неоспоримо, что главное значение камчатских гидротерм — энергетическое,— рассказывает главный специалист института «Теплоэлектропроект» молодой инженер Виктор Лобачев.— Первая ГеоТЭС с двумя турбинами по две с половиной тысячи киловатт каждая уже построена и эксплуатируется на реке Паужетка. Скважины, пробуренные на глубину всего 200—500 метров, сходятся в подземной котельной, врезанной самой природой. Тут крутой кипяток сепарируют, разделяют на горячую воду и пар. Оно и вращает турбины электрогенераторов. Очень горячая вода обогревает жилые дома поселка. К сожалению, большую ее часть приходится сбрасывать в реку. По мнению геологов, наличного тепла хватит, чтобы поднять мощность Паужетской ГеоТЭС в пять раз. Вторая очередь даст двадцать пять тысяч киловатт.

А нельзя ли сливаемую здесь без пользы горячую воду заставить работать, тоже производить электрическую энергию?

— Конечно, можно,— утверждает мой собеседник.— Созданная по проекту Новосибирского отделения нашего института оригинальная паровакуумная турбина мощностью пятьсот киловатт проходит испытание на экспериментальной станции, построенной на реке Паратунка. На Паратунке в обогреваемых трубами с горячей водой парниках и теплицах хорошо растут помидоры, огурцы, кабачки, лук и витаминизированная зелень. В суровую пору года — в январе — марте собственными овощами бойко торгуют в Петропавловске-Камчатском и во многих поселках.



Многолетний опыт эксплуатации первой геотермальной электростанции и скважины, пробитой геологами по соседству, на Нижне-Кошелевской залежи глубинного тепла, показали: это — перспективное дело. Короткая скважина — сто семьдесят метров! — выбросила мощную струю кипятка под давлением в несколько атмосфер.

Проектируемая Нижне-Кошелевская ГеоТЭС мощностью семьдесят пять тысяч киловатт положит начало Южно-Камчатскому энергетическому комплексу. Линии высоковольтных передач охватят восточное и западное побережье на юге полуострова, его самые обжитые районы.

Геотермальные энергетические ресурсы Камчатки и ожерелья Курильской гряды, по самым осторожным подсчетам, составляют триста пятьдесят—четыреста тысяч киловатт. Долины поблизости вулканов Семячек, Мутновский, хребта Камбальный, просторный Горячий пляж острова Кунашир на Курилах ждут, когда придут строители.

Сооружать ГеоТЭС — значит сделать важный шаг в завоевании большого тепла недр. Недаром ученые обсуждают идею обуздать, сначала частично, действующий вулкан Авача. Жар его магматического очага, клокочущего в трех-четырех километрах от поверхности, достигает 700—800 градусов. Подобная температура доступна технике. Овладев даже десятью — двадцатью процентами этого адского котла, можно пустить в ход геотермальную электростанцию миллионной мощности. И она многие десятилетия будет давать электрическую энергию без новых затрат.

Разве не является все это реальной основой, на которой вырастут будущие Термограды?

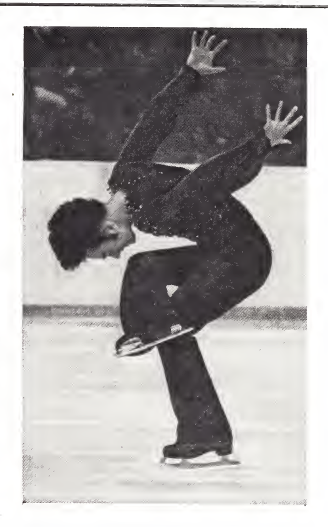
Жизнь — это одушевленная вода. «Нельзя сказать, что ты необходима жизни: ты — сама жизнь». Это слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери о воде.

Вода вездесуща. Даже самые твердые горные породы содержат в тончайших капиллярах воду. У нас под ногами, в глубинах Земли, плещет океан. Вода — архитектор планеты, ее неутомимый строитель. Извлечь ее на поверхность, поставить на службу человечеству — эта мечта вполне доступна сегодня гению ученого, изобретателя, инженера...



Станислав
ТОКАРЕВ

МАГИЯ ЛИЧНОСТИ



Когда в балет идут «на Плисецкую», то не только для того, чтобы насладиться выразительностью ее движений. Не только...

Когда в кино или в театр идут «на Смоктуновского», то ие только для того, чтобы увидеть, как он трактует очередную роль. Не только...

Личность — вот что влечет. Свет личности, ее магия, ее сила, которую иичем ие скрыть — ни гримом, ни туникой... Первозданный интеллект великой балерины, который даже не в танце — просто в ней самой. И обостренная иервность удивительного актера, когда словио видишь биение его сердца — ие Гамлета, ие царя Федора, ие смешного страхового агента, но Смоктуиовского... Вот что маиит.

Когда Москва валом валит в Лужники «на Крэнстона» — в те два декабрьских вечера показательных выступлений, которые он и больше всего он сделал незабываемыми,— зрителей лишь во вторую очередь привлекают его каучуковые прыжки-шпагаты и крутые вращеиия. А в первую — совсем другое.

Канадец Толлер Крэнстон таицует ариозо Канио из «Паяцев» Леонкавалло (я ие оговорился, именно так — танцует ариозо, а не «под ариозо»). Он взлетает ввысь в некоей изломаниой, искореженной болью позе, потом припадает иа лед и вращается, сжимая голову руками, и бессильно никиет, сраженный страдаиием. И тогда видишь ие только выдающегося спортсмена. И ие только трагического шута в его изображенни. Тогда понимаешь, что его слова, сказанные мне в интервью для «Советского спорта»,— о раздвоенности между живописью и фигурным катанием, о стремлеиии к совершенству и в том и в другом, о иевозможиости достичь этого абсолютного совершенства и о страдаиии, которое, мучая его, питает его творчество,— что все это слова предельно искренние.

Он ярок как личность, и он умеет выразить себя.

Что общего между Ольгой Корбут и Василием Алексеевым? Думаю, выразительность личности, яркость и откровенность выражения. Забудутся килограммы, перейдут в общее пользоваиие трюки, останется луч, как от звезды, которая давно погасла.

Для Власова борьба с металлом была драмой. Какая там «большая железная игра»? Не игра, ие шуточки: по одиу сторону интеллект, по другую — воплощенная тяжкая грубость реального мира. Жабо-

Анна ЧУТКО,
студентка 2-го курса



КЛАСС КАК КЛАСС

(Из воспоминаний бывшей десятиклассницы)

Уже второй год мы студенты. Давно уже вспышка очарования первым семестром сменилась ровным горением спокойной любви к родному институту. Мы учимся не только на тройки, но и на четверки и даже на пятерки. И каждый начинает понимать, что в конце концов получается из тебя благодаря усилиям педагогического коллектива школы, которую ты окончил. Представители этого коллектива глядят с групповых фотографий и спрашивают каждого из нас: «Чувствуешь теперь, что дало тебе всеобщее обязательное»? И ты, студент, успешно сдавший вступительные экзамены в вуз и прошедший первые сессии только потому, что у тебя был школьный запас знаний, уже не можешь понять, почему ты когда-то стонал при слове «обязательное».

Да, миновал год после выпускного бала, и многие из нас, вылупившихся из одного довольно работоспособного, относительно дисциплинированного и сравнительно дружного класса, теперь перешли на второй курс МЭИ, МГПИ, МГУ, МОПИ и т. д.

В школе нас научили учиться. Мы разогнались. Остановиться уже невозможно.

К знанию предмета мы шли двумя путями — либо путем притяжения к хорошему учителю, либо методом отталкивания от не очень хорошего, что тоже приводило к неплохим результатам. Тепло вспоминается лучшее, имевшее большую ценность для нас,— учитель, научивший добиваться ясности в трудном предмете, давший почувствовать вкус к знаниям и к самостоятельной работе. Долго еще по мерке хорошего учителя будет для нас оцениваться хороший человек. Таких мы с любовью и уважением будем вспоминать всю жизнь. Но были и такие, о которых мы до сих пор вспоминаем с улыбкой.

глаза системы

Химию преподавала Валентина Петровна. В течение двадцати лет работы в школе она выработала кристально четкую и, как мы потом поняли, единственно правильную систему держания нас в ежовых рукавицах и в черном теле. Лишний звук на ее уроке рассматривался как недопустимая пошлость и карался независимо от личных достоинств.

Валентина Петровна — высокая, полная пятидесятилетняя женщина, аккуратная до мелочей и пунктуальная, как английская королева. Она не знала, что такое «нехватка часов» — бич многих преподавателей. Ей всегда удавалось вводить урок в нужное русло. «Организационные моменты» на уроке у нее были редкостью. Четверо у доски, шестеро за тремя первыми партами, жесткий регламент, и в результате — десять оценок на каждом уроке.

На перемене в любую погоду в классе открывалось окно — для здоровья. Три первые парты получили название «холодильника». Сидевшие в «холодильнике» дрожали по двум причинам сразу.

— А что вы так трясетесь? — изумлялась химичка.— Ну, идите же к доске. Ну, быстро... Я слушаю вас, молодой че-зк... Молчите?.. Вы же ничего не знаете. Это, знаете ли, двойка.

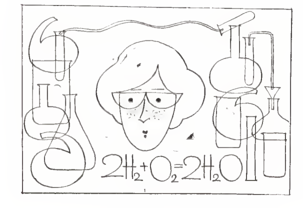
Мы уважали химию, но любить ее могли только те, кто собирался связать с ней будущую специальность,— слишком большого напряжения она нам стоила. И, чего уж мы никак не могли предположить, химия оказалась единственным уроком, который мы однажды по-настоящему сорвали. Нас охватило отчаянное молодечество. Видимо, мы сильно устали к середине года.

— Ну, что это вам дало? — спрашивала меня на выпускном вечере химичка.— Только честно!

Я объяснила:

— Мы устали до предела, Валентина Петровна. Жалеем, что сорвали именно ваш урок. Но это единственное, что мы сделали все вместе.

— Я так и поняла.— На меня сквозь очки грозно и ласково сверкнули глаза Системы.



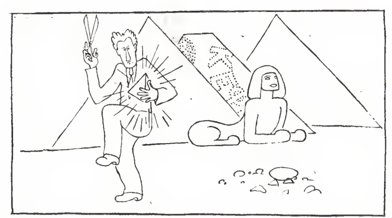


Рисунки И. ТКАЧЕНКО.

эликсир жизни

На том же выпускном вечере мы вспоминали нашего историка, продержавшегося в школе немногим более месяца.

— Ума не приложу, как это он меня охмурил,— разводила руками завуч.— То искать приходится, а то сам в руки шел, да еще мужчина. Наобещал с три короба: в музеи, говорил, ходить будем, кабинет переоборудую...



Василий Иванович умел убедительно говорить. На первом уроке его манера объяснять показалась нам оригинальной. На втором уроке мы поняли, что он нас обвел вокруг пальца. С вопросами мы к нему больше не обращались, так как были уличены в недиалектическом подходе к действительности.

Василия Ивановича можно было принять за восьмиклассника, тем более что одевался он в такой же серый костюмчик. В классе он появлялся в плаще и шляпе. Помахав на нас руками, он вешал верхнюю одежду на гвоздик, доставал из хозяйственной сумки пакетик кефира, шумно выпивал его и произносил:

— Вы не представляете, как полезно! Эликсир жизни.

Затем он доставал конспекты и без предисловий начинал диктовать, делая ударения в самых неожиданых местах. Иногда текст не вязался с тем, что мы слушали в прошлый раз, и мы беспомощно опускали шариковые ручки:

— Василий Иванович, это начало чего?

— Продолжения. Не мешайте.

— А продолжение чего?

— Вступления. Не мешайте.

Прервав диктант, он начинал проводить связи с действительностью.

— Нет, вот как у нас с вами? Мы живем в разобщенных условиях. Лестничная клетка людей разъединяет. А коммунальная квартира людей соединяет. Перегрызешься, бывало, с ними — ну, враги навек, а в субботу, соберешься, поставишь на стол...

Нехватка часов вошла в систему. Отметки брались с потолка.

— Я по вашему отношению сужу,— пояснял Василий Иванович.— Я по лицу вижу, кто знает историю.

Он завел кондуит — что-то вроде журнала, где вместо отметок проставлялись формулы недостойного поведения: «б» — болтал, «с»— смеялся, «в» — вертелся.

Василия Ивановича раздражал «бюрократизм», что и послужило причиной несходства его характера с требованиями администрации, настаивавшей на необходимости регулярно спрашивать учеников, используя по назначению академическое время.

В конце концов Василий Иванович ушел по собственному желанию.

Недавно его видели в метро. Сейчас он работает страховым агентом.

«так будет более лучше...»

Литературу у нас преподавала Аглая Федоровна. Отсутствие времени не дало ей возможности расширить круг своих педагогических обязанностей дальше устаревшей, но не потерявшей своего значения формулы «отговорить часы».

Главным нашим недостатком, по ее мнению, было неумение связывать «наше с вами вчера с нашими с вами сегодняшними буднями».

Наиболее решительно боролась Аглая Федоровна с нашей привычкой задавать вопрос «А почему?».

— Не усугубляйте,— говорила она,— и не обобщайте. Свои мысли вы будете выражать, когда закончите гуманитарный вуз. А пока законспектируйте все наши с вами выкладки по образу Ленского. Учтите, это ваши собственные мысли. Диктую... Так будет более лучше.

Если подобный материал «Пушкин в школе» или «Грибоедов в школе» не вдохновлял, у нее появлялось желание передать его своими словами:

— Заглянем к Евгению Онегину домой,— предлагала она,— заберемся к нему в спальню, подсядем к самой кровати, посмотрим, что делает утром молодой человек девятнадцатого века. Как мы с вами видим, ему записочки несут. Три дома на вечер зовут. За счет чего, думаете вы, все эти щеточки и кабинет? За счет крестьян. По-э-то-му О-не-гин разо-чаро-вал-ся в светской жизни!

От нее мы впервые услышали, что «спортсмен» — это русское сложносокращенное слово, означающее «спортивная смена».

В десятом классе ребята, собиравшиеся сдавать литературу в вузы, проанализировали свои литературные знания и пришли к выводу, что на материале Аглаиных уроков далеко не уедешь.

Родители забегали в поисках репетиторов.



Дополнительные занятия мы старались скрывать от ревнивой Аглаи Федоровны. Она так и осталась в неведении по поводу своих педагогических сил.

без скидки на возраст

После того, как в 5-м классе у нас сменились одна за другой две географички, мы пришли к выводу, что урок географии — это что-то вроде дополнительного времени на выполнение домашних заданий по английскому и математике. Третья и последняя географичка — молодая, высокая,

энергичная — сразу поняла, с кем имеет дело. После ее «Здравствуйте, деточки!» стало ясно, что наше ребячество кончилось.

— А ну-ка вот вы, деточка, на выход! Как вас?.. Витя? Очень приятно, а меня зовут Маргарита Георгиевна... Иванов, на потолке ничего не написано, а за окном облачность... Какая, кстати, облачность-то? Вижу, что не знаешь. Оценка соответственно.— Захлопнув журнал, она заключила: — Вывод малоутешительный, деточка! То, что вы успели на перемене прочитать в учебнике, рекомендую тщательно забыть. Равнение на доску! Слушать меня и вести конспекты.

Мы были уверены, что нет такой периодической литературы, с которой она не познакомилась, как нет уголка в Союзе, где она не была. Ей первой удалось расшатать наше равнодушие ко всему, что выходило за рамки учебников.

Каждый год Маргарита Георгиевна собирала человек двадцать из своего 10 «б» и нашего класса, и мы ездили с ней в Ленинград, Минск, Одессу, Киев. В Бресте она махала бумажками перед лицом директора школы, где мы ночевали, и требовала раскладушек и матов, «оговоренных в переписке». В плацкартном вагоне, где дуло изо всех щелей, географичка до хрипоты убеждала проводницу в том, что мы никак не можем выпрыгнуть на ходу с казенными матрацами и подушками.

В автобусе, который шел в Хатынь, она заставляла нас смотреть по сторонам и все запоминать, хотя мы смертельно хотели спать после холодного вагона.

Однажды на вокзале мы впервые услышали, как Маргарита Георгиевна поет «Синий берет» и «Я много в жизни потерял из-за того, что ростом мал».

В Москве наши туристские страсти успокоились. В один прекрасный день мы заметили, что у географички бледное, почти серое лицо, поняли, что поездки обходятся ей не дешево, и примолкли. Нас она ругала больше всех:

— Бездельники! Задрали нос, ни черта не знают, даже друг друга понимать до сих пор не научились!

Нам было стыдно перед ней, когда на выпускном вечере ее 10 «б» дружно пел под гитару, а у нас песни не нашлось... Мы поняли, что не сумели «спеться».

К нашему столу подошла Маргарита Георгиевна, сказала несколько слов, и мы сразу вспомнили кучу песен.

Б. БЕРМЯК,
А. ЮРИКОВ

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ



Рисунок О. КОНЯХИНА.

Это началось, когда Вера еще училась в десятом классе. Она увидела его в кино, и с тех пор высокий широкоплечий брюнет с голубыми глазами, в черном кожаном пиджаке и алой рубашке с расстегнутым воротом постоянно был рядом с нею. Одну его фотографию Вера хранила в записной книжке, другая — из журнала «Советский экран» — лежала под стеклом на письменном столе, а очень цветной портрет, купленный за рубль восемьдесят в подземном переходе, висел на стенке. Родители Веры тоже привыкли к этому портрету. Папа говорил, что, глядя на него, чай можно пить без сахара.

Каждую неделю Вера ходила на фильм с его участием. Ей хотелось видеть его, но в кино он больше не снимался.

Вера пошла в театр. Он нравился Вере во всех спектаклях, в которых играл. Он появлялся на сцене — всегда высокий широкоплечий брюнет с голубыми глазами, в черном кожаном пиджаке и алой рубашке с расстегнутым воротом. Вера была счастлива.

Но для полноты счастья ей не хватало всего нескольких слов, сказанных его голосом, слов, обращенных именно к ней. С большим трудом она узнала его телефон. В первый раз ответил молодой женский голос. Вера подумала, что ошиблась номером, но тот же голос звучал в трубке и через неделю и через месяц...

Вскоре место портрета на стене заняла стандартная свадебная фотография. Тоже цветная. На ней рядом с Верой стоял Володя, ее однокурсник, невысокий полный блондин в очках и белой сорочке, стянутой узким галстуком.

На свадьбу молодым подарили телевизор. Сначала было не до него, а когда Вера ушла в декрет, она стала проводить целые вечера у экрана. Как-то, переключив телевизор на четвертую программу, Вера вздрогнула: шел тот самый фильм. Голубые глаза, черный кожаный пиджак, алая рубашка с расстегнутым воротом... Досмотреть картину ей не удалось — в роддоме телевизора не было.

Когда все закончилось, Вера попросила показать ей ребенка. Сестра высоко подняла его, и Вера увидела сына. Он был маленький, но широкоплечий, брюнет с голубыми глазами, в черном пиджаке и алой рубашке с расстегнутым воротом.

В НОМЕРЕ

На 1—4-й стр. обложки рисунок Б. КОТЛЯРА.

Адрес редакции:
101524. ГСП. Москва, К-6. Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции 251-32-83.
Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 26/XII—1974 г.
А 05831.
Подп. к печ. 11/II—1975 г.
Формат бумаги 84×108$^{1}/_{16}$.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 600 000 экз.
Изд. № 496. Заказ № 3192.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.